



Павел Лукницкий

Вера Лебедева

Я хочу рассказать о том, что делала, что пережила, что думала одна простая русская девушка, отдавая свою жизнь за свободу Родины. Вера Лебедева бестрепетно шла навстречу смерти, столкнулась с нею вплотную, лицом к лицу, выполнила свой долг до конца и — как это ни противоречиво звучит — пережила момент своей гибели, пережила, потому что осталась жива, и после выздоровления продолжала участвовать в обороне Ленинграда по-прежнему. Все то, что чувствовала и думала Вера, я передаю с ее слов точно, а в описании ее боевой деятельности ничего не домышляю и от себя не прибавляю.

* * *

Зима... Тяжкая, страшная, первая в Ленинграде зима блокады. Но, что бы ни происходило в эти месяцы в городе, схваченном за горло голодной смертью, но не сдающемся ей, — на передовой линии обороны защитники города вырывали у гитлеровцев, метр за метром, свою советскую землю... В руках истощенных людей винтовка весила пуд. Снежные сугробы под ногами качались, как волны. День и ночь сливались в глазах бойцов. Отвоеванная у врага нора становилась землянкой нашего переднего края. И между двумя землянками тянулся пустой окоп, потому что бойцов для него не хватало. Но этот окоп был нашим, — и враг не смел в него сунуться: один наш истощенный лишениями боец, выползая из своей землянки, дрался за десятерых...

В одной из таких отбитых у немцев землянок, «лисьей норе», иначе — на «точке № 5» пулеметно-минометного взвода жили шесть человек: три бойца, командир взвода — Саша Фадеев, — его помощник и Вера Лебедева, назначенная комсоргом роты. Командиром ее третьей роты был лейтенант Василий Чапаев — тезка легендарного комдива.

Вера уже давно не знала, кто она: санинструктор или боец? Она жила общей со всеми жизнью: грызла лопатой землю, как и все, вглядываясь в тьму, выстаивала с винтовкой часы дежурств на ледяном ветру. Она выходила в контратаки, потому что, как и все, была защитником того клочка нашей земли, за который отвечал взвод.

Никто не мог бы теперь узнать в ней ту девушку, которая всего несколько месяцев назад в кузове грузовика ехала вместе с морскими пехотинцами на фронт. Тогда Вера не успела получить военное обмундирование. Ее ярко-желтое платье резко выделялось среди сине-белых

тельняшек и черных бушлатов. Ее мягкие светло-каштановые волосы над большим и открытым лбом, голубые вдумчивые глаза привлекали к ней внимание краснофлотцев — загорелых, обветренных. В пути они пели хором широкие русские песни. В многоголосое звучание, низких мужских голосов звонкий голос Веры вплетался тоненькой, хорошо различимой нитью...

Когда-то, до войны, Вера долгими часами неумоимо ходила на лыжах по Кавголовским горам. Теперь она не могла бы пробежать и двадцати шагов: задохнулась бы, упала бы на снег. Ватная куртка и брюки, казалось, не облекали собой никакого тела, так худа, так почти невесома была девушка. И под шапкой-кубанкой были только узкий, обтянувший челюсти рот да глаза, — но глаза эти оставались прежними, живыми, гневными при мысли о ненавистном враге и задумчивыми, когда где-то вдали, в мечтах, им виделась победа...

Трудно поверить, но Вера бывала и весела. Она любила шутить. Придумала такую шутку, которая целый месяц веселила всех пятерых, живших с ней вместе в землянке, товарищей. Вера превратила землянку в паровоз, — да, да, в паровоз, — и увлекла всех этой шуткой.

Скованная тридцатиградусными морозами земля была так тверда, а сил у всех так мало, что построить себе новую землянку, вместо отбитой у врага норы, бойцы не могли бы. Лаз в эту нору шириною был меньше метра, а высотой сантиметров семьдесят. Сюда приходилось вползать, извиваясь в снегу траншеи. Железная коробка заменяла собою печь, труба — из свернутого листа жести, и стоило зажечь в этом сооружении щенки, чтобы в дыму, наполнившем землянку, нельзя было даже разглядеть друг друга. Когда печь топилась, окоченевшие люди жалась к ней, надев противогазы. Кто не хотел надевать противогаз или начинал задыхаться в нем, тот волен был высунуть голову из норы в траншею, откинув край плащ-палатки, заменявшей дверь.

И тот, кто так дышал вольным морозным воздухом, именовался машинистом: он как бы смотрел на путь. А тот, кто растапливал печку, был кочегаром. «Машинист» кричал «кочегару»: «Подбрось уголька!», — но за то, что сам пользовался воздухом, когда задыхались другие, он должен был гудеть, как паровоз, который трогается в путь. Когда холод, текущий из-под приподнятой плащ-палатки, вымораживал всех машинисту кричали: «Закрой поддувало!»; машинист опускал плащ-палатку и, надев противогаз, подползал к печке — от нее снова распространялось тепло; затем следующий по очереди мог высунуть из норы голову...

На работу все шестеро выходили по строгому расписанию. Нужно было надежней оборудовать огневую точку, углубить и обвести бруствером траншеи; и, как бы ни была тверда промороженная земля, эту работу они проделывали.

Гитлеровцы лезли на приступ, и шестеро друзей выходили в контратаку. Одновременно «встречать» врага выходили обитатели других вкрапленных в траншею нор. Взрывались под гитлеровцами минные поля, строчили пулеметы, автоматы, винтовки. Ручные гранаты летели в метельную ночь. Враг отходил, и шестеро защитников Ленинграда возвращались в свою нору. И когда убеждались, что их по-прежнему шестеро и что маленький, доверенный им клочок родной земли они уберегли, им опять хотелось шутить и смеяться. Двое — чья была очередь — засыпали тяжелым сном, а остальные пересмеивались: «Открой поддувало!», «Подбрось уголька» — и только следили, чтоб спящие во сне не стянули с себя противогазов или не задохнулись в них.

Начинал настойчиво пищать телефон. Тот, кто был к нему ближе, брал трубку. С соседней точки, как с другой планеты, звучал голос:

— Товарищ главнокомандующий! Разрешите доложить: у нас все в порядке, враг отбит, а мы все целы. А у вас? Тоже целы? Ну и хорошо!.. Что делаете? Грустите?

— Сейчас будем грустить! — со смехом отвечала Вера, клала трубку и говорила Мише Громову — помощнику командира взвода:

— В самом деле, давай грустить!

А «грустить» — это значило: медленно, в растяжку, жевать крошечный кусочек суррогатного хлеба, макая его в теплую воду, пахнущую дымом, потому что ее долго в котле натапливали из снега.

И никто из боевых друзей Веры не знал, сколько бессонных дум у нее о своем комсомольском долге,— ведь она была слабее других, но другим казалось, что она всех сильнее. Впрочем, духом своим она и была сильнее товарищей. Зорко следила за ними, сразу замечала неподвижный, устремленный в землю взгляд того, кто, забыв об окружающих, погружался в тяжкое раздумье. «Победит или не победит свое состояние?— думала Вера. — Не пора ли помочь ему?.. Ведь, и правда, все вокруг плохо, так плохо, и в душе тот же холод и мрак, что и в этой норе... Но если мы поддадимся?.. Нет, этого не будет, ведь мы же большевики!»

А когда Веру спрашивали: «О чем ты думаешь?»; она только встряхивала головой, смеялась так непринужденно и звонко, что всем становилось теплее в этой норе. Бросив какую-нибудь острую шутку, она предлагала:

— А ну, пошли, ребята, траншею чистить!..

И красноармейцы, ухмыляясь, брались за лопаты, плотней запахнув ватники, выползали из норы, гуськом плелись вдоль траншеи, охваченные слепящею вьюгой. Глухо звенел металл, натываясь сквозь порошистый снег на мерзлые комья земли.

Вот, разве забудешь это? Рядом с Верой медленно нагибается, еще медленней разгибается боец Федор Кувалдин. Смотря на изможденного парня, Вера размышляет о том, что, будь другое время, — силища в его мускулах так и играла бы. Да и сейчас еще он, наверное, вдесятеро сильнее ее.

— Скажи, Вера, — Кувалдин тяжело вздохнув, откладывает лопату, — настанет ли день, что я наемся досыта, или я уж не доживу до тех пор?

Вера резко втыкает в снег и свою лопату.

— Придет такой день. А вот думать, доживешь ли ты, — не имеешь права! Другие — погляди — осунулись, и желтые у них лица, а у тебя еще румянец на щеках!

Румянец? Федор глядит на Веру недоверчивыми глазами, а она смеется:

— Вот если бы тебя, Федя, увидела твоя жена, сказала бы: «Да, это мой муж: все уж руки опустили, а он работает, службу несет хорошо и еще улыбается, как ни в чем не бывало!»

И Кувалдин, сам не желая того, действительно не может удержать улыбки.

— Знаешь, Федя?.. Давай эти десять метров вперед других сделаем, а потом пойдем помогать Громову, хочешь?

— Давай!

И Вера торопливо берется за лопату. Но сил у неё все-таки нет: траншея глубока, лопату со снегом нужно поднять не меньше чем на два метра, чтобы снег перелетел через край. Отвернувшись, скрыв болезненную гримасу, Вера поднимает лопату, опускает ее — только бы не упасть, не упасть совсем.

Федор, сделав десятка полтора энергичных копков, израсходовав на них последние силы, резко вонзает лопату в снег, облокотившись на черенок, обвисает на нем бессильным телом и вдруг плачет, порывисто, жалобно, как ребенок; ноги его подгибаются, он садится на снег, валится на бок и плачет, плачет...

Вера садится рядом и, уже без улыбки, поворачивает к себе двумя руками его лицо. Он сразу сдерживается. И оба сидят теперь молча, и это молчание сильнее всякого задушевного разговора. Вера роется в карманах своего ватника, — когда она ходит на командный пункт роты и кто-нибудь угостит ее папиросой, она незаметно кладет эту папироску в карман, чтобы при таком вот случае пригодилась...

— Курить хочешь?

Федор молча принимает от нее папиросу, вытирает варежкой замерзшие слезы, выбивает куском кремня и напильника искру на сухой трут. Курит... И, выждав, когда он выкурит папиросу до половины, Вера заводит с ним тихим голосом разговор: верно, трудно жить, выше сил это, но кто в этом виноват? Враг виноват, фашист проклятый, который хочет задушить Ленинград; но разве можем мы допустить, чтобы это удалось фашисту?..

Федор слушает Веру, яснеют его глаза, пальцы солдата сжимаются в кулаки. Кувалдин резко обрывает разговор, встает легкий и как будто сильный опять, берется за лопату и снова начинает работать.

И Вера незаметно отходит от Федора, начинает рыть рядом с другим бойцом...

Все сильней, все трескучей морозы... Все меньше хлеба и меньше сил. Бойцы стоят на посту по два часа. Надо бы не так долго, как и полагается по уставу, да куда там, — людей-то нет! Каждые два часа Вера сама укутывает руки и ноги очередного, проверяет, плотно ли застегнуты ватник и полушубок, хорошо ли шея обвязана шарфом. Вложив в руку часового винтовку, шутит на прощанье: «Ну вот, на медведя в пеленках похож ты сейчас... Иди».

Но все безразличней бойцы и к шуткам Веры, и к песням ее, какие прежде все охотно подхватывали в землянке. Боевой листок, который Вера продолжает писать несгибающимися пальцами, никто не читает сам, и Вере приходится читать его вслух. За два часа дежурства на посту руки и ноги бойцов обмораживаются все чаще. Каждого возвращающегося с поста Вера осматривает внимательно и заботливо; все уже привыкли к тому, что она неутомимей всех. «Двужильная ты! — сказал ей однажды командир взвода. — Крепче кошки! Кто их знает, этих девчат, — откуда у них запас сил?»

Боец Иван Панкратьев упал на посту. Выстрелил. Приспели, — думали: опять боевая тревога. А он сказал только: «Смените, братцы, меня, ненароком враг поперет, а я ничего больше не вижу!» Принесли в землянку, — человек еле жив, обморожение второй степени. Уложили бойца на финские санки, укутали его тщательно. Товарищи взялись было тянуть вместе с Верой санки, но она вспылила:

— Да вы что?.. Разве можно снимать с передовой линии хоть одного человека?.. Или лишние у нас есть?.. Довезу сама!

Каждые десять шагов дыхание прерывалось. Садилась на снег, снимала сапог, делала вид, что поправляет портянку, — дышала, дышала...

Триста метров до ППМ Вера преодолевала три с половиной часа... Но Иван Панкратьев все-таки не замерз... А в землянку номер пять сразу взамен Панкратьева прислали другого бойца.

В январе 1942 года Вера получила отпуск на двое суток в Ленинград, — навестить тетку. Но провела в городе меньше суток, — то, что увидела она там, переполнило душу такой ненавистью к врагу, что решение было мгновенным: «Мало спасать раненых, надо стрелять самой...» Именно с того дня Вера на своей «точке» занялась тщательным изучением всех видов оружия. И уже к февралю не только хорошо стреляла из винтовки, но овладела и минометом и пулеметом.

А в феврале, когда из шести человек на «точке» осталось четверо, Вера вступала в партию...

«...Получать кандидатский билет я шла с «точки» на КП роты вместе с Мишей Громовым, — он вступал в партию одновременно со мною.

— Миша, — спросила я, — что ты скажешь, когда будешь получать билет?

— Все говорят: «доверие оправдаю», и я скажу: «доверие оправдаю».

А шли мы ночью, вдвоем; где ползком пробирались по снегу, где — вперебежку, а потом уже можно было шагом. У меня все внутри разгорается, как подумаешь, что билет иду получать!.. Придумывала всякие слова, что скажу... А как дали (батальонный комиссар Иванов давал, из политотдела 43-й стрелковой дивизии) — у меня дух захватило. Он меня за руку берет, а я никак не могу сказать: вертятся всякие слова, не могу подобрать. И уж когда поздравил меня секретарь партийного бюро батальона Иван Иванович Никонов, сказала: «Я буду честным коммунистом!» Они мне: «А мы и не сомневаемся!»... Тут я уж ничего и не слышала! И пройдет несколько минут,— я сразу за карман: на месте ли? Волновалась, думая, что меня приняли как человека, которого лучшим считают. И как пришла в землянку, то хотелось там сделать все, чтобы всем легче стало...»

За два с половиной месяца работы Веры Лебедевой комсоргом роты ротная комсомольская организация выросла с одиннадцати человек до тридцати одного, не считая убитых в боях и эвакуированных в тыл раненых. Вскоре Вере Лебедевой было присвоено звание младшего политрука, и она стала секретарем бюро комсомола батальона.

Вера на своей «точке» постоянно стреляла из пулемета, не раз при стычках с фашистами бросала гранаты и во всей роте считалась уже метким и хладнокровным снайпером.

Дни начали удлиняться, солнце стояло в небе все дольше. Вместе с солнечным светом шла жизнь к защитникам Ленинграда. Тысячи трупов гитлеровцев нагромодились за эту зиму впереди наших траншей, ни одна траншея не перешла в руки врага. Фронт стоял нерушим и с каждым днем наливался новой силой и мощью. Ладожская трасса принесла хлеб. Красноармейский паек стал нормальным. Истощенные воины направлялись поочередно в дома отдыха и стационары. На передний край обороны прибывали пополнения: взводы, роты, полки и дивизии укомплектовывались. Пушки, минометы, автоматы — все виды оружия насыщали новые огневые точки вокруг Ленинграда. Город слал фронту сотни тысяч ящиков с патронами, минами и снарядами, — вновь начинали дымить заводы, все самое трудное было теперь позади...

Снег еще лежал на полях, укутывая плотным саваном замерзшие трупы гитлеровцев. Землянка Веры Лебедевой перестала быть лисьей норой, — ее углубили, расширили, перестроили и готовились передать тыловому подразделению, потому что сами рассчитывали отвоевать у гитлеровцев новый клочок земли...

В эти дни Вера Лебедева, уже награжденная медалью «За отвагу», совершила в Усть-Тосно подвиг, который принес ей уважение всех защитников Ленинграда...

...Ночь на третье апреля 1942 года. К вечеру батальон выбил гитлеровцев с занимаемых ими позиций. Траншея осталась за нами. Бой был жестоким. Предстояло любой ценой продержаться до утра, когда подойдет подкрепление. На каждой новой огневой точке по пять — шесть человек. Между точками, по фронту, метров на триста — четыреста траншея оставалась пустой. Ночь была непроглядно темной. Шквалистый ветер рвал, выл, метался. Эту неприятную ночь раздирали разрывы снарядов — врагов бесила их неудача.

Вера Лебедева находилась в землянке командного пункта роты, — разговаривала с политруком Добрусиним и с командиром роты лейтенантом Чапаевым. Разговор шел о работе Веры с комсомольцами пополнения, которое подойдет к утру, Подруга Веры, Клава Королева, дежурила у телефона.

Сыпался с перекрытий песок, керосиновая лампа мигала, — снаряды рвались вокруг. Со свистом, обрушив в землянку снежный шквал непогоды, распахнулась дверь, старший сержант предстал перед командиром роты.

— Наша точка, правофланговая, разбита. Землянка горит. Прямое попадание термитным. Командир взвода младший лейтенант убит. На точку ворвались автоматчики. Мы перебили их, погибли и наши — все пятеро, я остался один... Давайте скорее подмогу, я проведу!..

Вера Лебедева накидывает ватник, хватая санитарную сумку.

— Куда ты? — останавливает ее политрук Добрусин, — не твое это дело!..

— Пустите!.. Товарищ лейтенант, — оборачивается Вера к Чапаеву, который уже у двери. — Разрешите мне с вами! Каждый человек нужен там!

Чапаев кивком выражает согласие и исчезает в белой пурге. Вера выскакивает за ним. Пожилой боец Политыка, украинец Редько, второй телефонист Васин, и тот — прибежавший с горячей точки — бегут по траншее, сразу объятые мраком, ветром, ослепляемые пламенем разрывов, — осколки осыпают траншею.

...Все шестеро — возле разбитой «точки». Еще шестеро, вызванные приказанием Чапаева по телефону, спешат следом. Землянка горит. Те несколько гитлеровских автоматчиков, что ворвались сюда, лежат в траншее убитые.

Чапаев рассредоточивает прибежавших с ним, приказывает окапываться, поручает Вере разогреть принесенный старшим сержантом ручной пулемет; мороз большой — и затвор замерз.

— Старший сержант! Командуй здесь, я сейчас вернусь!

Пригибаясь, Чапаев бежит по траншее дальше, где, он знает, есть группа саперов, которую следует привести сюда. Разрывается снаряд, — Чапаев ранен, но вскакивает, бежит дальше.

Подходит вторая группа — еще шесть бойцов, но, прежде чем они успевают выбрать себе места, — три снаряда один за другим разрываются впереди и сзади, а четвертый рвет оглушительным разрывом середину траншеи. Вместе с пулеметом Вера вбита в снежный сугроб. Когда, раскидав заваливший ее снег, она, задыхаясь, выбирается на поверхность, то слышит только стоны вокруг. Вытянув за собой пулемет, она кидается к раненым.

За мечущимися языками огня впереди стоит черная, непроглядная стена ночи; она скрывает мелкий еловый лес, и оттуда ветер доносит теперь смутный шум: будто говор, будто глухие команды и позвякивание оружия...

Фашисты ударили из минометов. В свете пламени возник Базелев, — раненый сам, он полз, таща за собой пронзенного осколком мины своего товарища, Иванова.

— Фашисты сейчас в атаку пойдут! — крикнул он.

Старший сержант осмотрелся. Кто еще может держать оружие? Способных к бою здесь трое, невредима из них только Вера.

Вера быстро перевязывает Иванова и Базелева, проверяет пулемет, — он исправен.

— Нужно их встретить не здесь, — говорит она, — а впереди! Отсюда за светом не видно будет. С пулеметом выйти вперед! Я пойду вперед! Разрешите?.. Я знаю пулемет, хорошо стреляю.

Старший сержант посылает Базелева дозорным и внимательно, словно впервые видя перед собой худощавое лицо, светлые глаза Веры, глядит на нее...

— Ты?

Вера не отрывается от его сурового оценивающего взгляда. Вера видит, как освещенные красным пламенем, завешенные щетинками усов губы старого солдата дрогнули.

— Нет, дочка!.. Там смерть... А тебе еще нужно жить!

Вера вскидывает голову:

— А другим?..

Старший сержант молчит. Возвращается Базелев:

— Идут!..

Вера, вдруг рассердившись, кричит:

— Минута уже прошла... А они идут! Или вы хотите отдать наш рубеж?..

Старший сержант встрепенулся, быстро обнял и поцеловал Веру:

— Ну, иди, дочка... Не отдадим!..

И Вера, схватив пулемет и три диска, поползла вперед, обогнула плавящийся от жары вокруг горящей землянки снег, погрузилась в слепую, черную ночь. Кроме пулемета и дисков, была у Веры при себе еще только одна «лимонка».

«Не отдадим... Не отдадим!» — настойчиво повторяла возбужденная мысль, и Вера не помнила, что эти слова сказал старший сержант. «Не отдадим!» уже относилось к земле, по которой она ползла, ко всему, что осталось там, позади нее.

Темный лес стал уже смутно различим в пурге. Вера переползла свежие еще, только присыпанные снегом воронки, щупала пальцами снег впереди себя и, наткнувшись на вражеское проволочное ограждение, установила пулемет, вложила диск...

Впереди она увидела маленькие темные елки и черные пятна, скользящие от дерева к дереву. Они приближаются... Вот это и есть враги!..

У Веры страстное желание открыть огонь, но она сдерживает себя, она ждет, чтобы подошли ближе. Она считает, сколько метров до них.

Сто?.. Много! Пусть подойдут еще!.. Доносится шум, они идут и вполголоса о чем-то переговариваются, они еще не чувствуют опасности. Хорошо! Это хорошо!.. Они широко растянулись вправо и влево, приближаются цепью. Вера считает: «Теперь метров, наверное, шестьдесят», — нажимает спусковой крючок, ведет очередью слева направо.

Стук пулемета исходит как будто из сердца. Гитлеровцы падают, слышен раздирающий ночную тишину крик, и после резкого голоса команды все, кто был впереди, ложатся. Вера не стреляет, пока гитлеровцы лежат. Но они начинают двигаться ползком, наползают и справа и слева. Вере понятно: они хотят обойти ее. Вера бьет короткими очередями, выбивая передних слева, затем передних справа. Лес оглашается треском вражеских автоматов, — пули начинают сечь воздух, все ближе зарываются в снег. Вера быстро отползает в сторону, метра на три, снова дает короткие очереди.

Один диск у Веры уже израсходован. Она вставляет второй, — а враги уже с трех сторон; все чаще переползает Вера с места на место, сбивает врагу фланги и бьет ему в лоб, — и второй диск подходит к концу. Дать бы сейчас длинную очередь, но нельзя, — надо бить точно, рассчитано, чтобы ни одна пуля не пропадала зря. Пустеющий диск начинает трещать, патронов все меньше, еще пять — шесть выстрелов, и он пуст, а гитлеровцы ползут...

Вера хочет вставить третий, последний диск, но левая рука вдруг виснет бессильно. «Ранена!» — понимает Вера. Это некстати; необходимо, чтобы рука сейчас действовала. Вера приподымает левую руку правой; пальцы еще работают, она вставляет последний диск и начинает стрелять одиночными. Но на несколько фашистов ей приходится истратить по две пули, и Вера досадует: «Как же это так нерасчетливо!» Вдруг вслед за разрывом мины резкий удар в поясницу, и только при этом ударе Вера осознает, что ведь все время вокруг нее рвались мины, а она даже не замечала этого. Но удар в поясницу был не очень силен, Вера продолжает стрелять. Ей нужно переползти с места на место, а раненая рука мешает, подворачивается, и Вера отпихивает ее другой рукой влево, а потом подвигается боком; и снова одной правой ставит пулемет как надо, подправляет его головой, целится, дает один выстрел, целится снова, дает еще один. Фашисты начинают бросать в Веру гранаты.

Вот граната падает у самого пулемета. Вера мгновенно подхватывает и отшвыривает ее в сторону врагов, взрыв раздается среди них. Вера зло усмехается. Опять стреляет, но диск — последний диск — начинает трещать, а в боку у Веры — острое жжение и на спине под гимнастеркой и ватником мокро. И у Веры мысль: «Мне жарко, — вспотела!»

Осталось один или два патрона. И тогда само собой, как совершенно естественное продолжение всего, что делает она здесь, приходит решение: встать, бросить «лимонку» — все, что еще есть у нее, — единственную «лимонку», чтобы себя и — побольше — их... Надо только выждать, когда они разом кинутся!..

Вера выпускает последние две пули. Два гитлеровца, пытавшиеся к ней подползти, замирают. Вера поднимает голову, и что-то становится ясным для нее сразу, будто чего-то раньше не замечала она. Это тишина. Никто не стреляет, враги лежат метрах в двадцати и не ползут ближе. И наших позади нет. Конечно, фашисты остерегаются и выжидают, чуя, что патроны у русского пулеметчика на исходе...

«Ну вот», — мысленно подтверждает свое решение Вера, валит пулемет набок, быстро забрасывает его снегом, затем выдергивает из «лимонки» чеку. Вздохнув, поднимается во весь рост; возле нее — ветви разлапой, заснеженной ели. Смотрит на небо и видит звезды, в первый раз в эту ночь видит крупные, чудесные звезды, и ей сразу становится хорошо: перед ее взором доброе лицо матери, родное лицо. «Мама радуется за меня!» — и торжественное спокойствие в это мгновение овладевает Верой.

Просветленным взором она смотрит теперь на врагов, слышит голос команды, вслух легко и свободно произносит: «Идите теперь!» — и видит: гитлеровцы вскакивают, бегут к ней; Вера радуется, что их мало, что их так мало осталось. Она заносит «лимонку» над своей головой и закрывает глаза, и ждет... И счастливо повторяет:

— Ну, все... все!

Смутно слышит ожесточенный треск автоматов и больше не помнит уже ничего...

Это были наши автоматчики, подоспевшие на помощь. Они скосили фашистов, прежде чем те подбежали к Вере. Девушку нашли лежащей без сознания, навзничь, раскинув руки; ватник ее был распахнут, а волосы разметались по снегу. Склонившись над ней, старший сержант уловил легкий пар дыхания. Потрогал ее плечи, руки... «Лимонка» вместе с рычажком была так плотно сжата ее омертвевшей рукой, что не разорвалась. Старший сержант, осторожно разжав сведенные пальцы Веры, придержал рычажок, крикнул бойцам: «Ложись!» — и отшвырнул гранату за трупы гитлеровцев. «Лимонка» разорвалась в снегу...

Когда Вера очнулась в госпитале в Ленинграде, первое, что почему-то припомнилось ей, была ее кубанка, оставшаяся на снегу там, рядом с поваленным набок пулеметом. На столике возле себя Вера увидела цветы и конфеты, подумала: «Откуда они могут быть?» (ведь это был апрель ленинградского сорок второго года!). Но на душе стало легко и приятно. Ей сказали, что в госпиталь приезжал генерал-майор, начальник политуправления фронта, и что он приедет еще раз. И еще ей сказали, что она представлена к ордену Красного Знамени.

Вера подумала: «Этим орденом был награжден сам Ленин»... Улыбнулась, закрыла глаза и заснула спокойным, здоровым сном.

Первого мая Вера выписалась из госпиталя и вернулась в свой батальон на передний край. Снова участвовала в боях, в ежедневной перестрелке, стреляла из пулемета и миномета, выносила и перевязывала раненых и продолжала свою работу комсомольского организатора среди молодых бойцов.

Это лето не принесло ей радостей. Вечером 28 мая ей доставили два письма: мать сообщала, что фашисты у ее города, что она тяжело больна. Распечатав второе письмо, Вера прочитала извещение о гибели брата Николая на Северном фронте. Вера машинально взяла у спящего в землянке бойца восьмушку махорки, свернула большую сигарку и первый раз в жизни своей закурила... Ночь Вера просидела в тяжелых раздумьях. Утром, ни с кем не делаясь своим горем, пошла к пулемету, весь день одиночными снайперскими выстрелами, тщательно выбирая цель, стреляла по гитлеровцам. С той ночи Вера стала курить.

А в июне мать переслала полученное ею письмо из Смоленской области, от командира подразделения. В нем сообщалось о гибели второго брата Веры — Михаила.

Теперь из всех родных и близких у Веры осталась только ее мать...

В это лето Вере Лебедевой было присвоено звание младшего политрука, из кандидатов партии она была переведена в члены партии, а в сентябре ее назначили комиссаром артиллерийской батареи батальона. Вера Лебедева оказалась первой на Ленинградском фронте девушкой, получившей такую должность... Начальник политотдела армии Крылов сначала было возражал против этого назначения, но, вызвав Веру, подробно поговорив с ней, разобравшись в ее боевой биографии, позвонил начальнику политотдела майору Галицкому:

— А по-моему, ее можно оставить комиссаром!

21 сентября Вера явилась в район Красного Бора на батарею 76- и 45-миллиметровых пушек. Командир батареи — плотный, широколицый кадровый артиллерист Степан Федорович Ушаков — встретил своего нового комиссара хорошо, с первого же дня держался с нею по-деловому, порой — по-отечески. Он умно и тактично старался увлечь своего комиссара техникой артиллерийской стрельбы; и очень скоро Вера стала отличным артиллеристом. Она доказала это в первом же серьезном бою и позже, когда две недели подряд ей пришлось заменять командира...

На этой батарее Вера Лебедева пробыла десять месяцев. Было много боев. Но еще больше было дней будничных. Как проходили такие дни? Что делала в эти дни Вера Лебедева, ставшая лейтенантом, заместителем командира по политчасти?..

Майский день 1943 года. Сорокапятимиллиметровки уже сняты с вооружения батареи. 76-миллиметровые пушки стоят в «карманах», на переднем крае, каждая на своей позиции. Командный пункт батареи — чуть позади. Открытое поле простреливается во всех направлениях. Противник непрерывно бьет из пулеметов, автоматов и минометов. Командир батареи уехал по вызову, и Вера Лебедева заменяет его. Телефонный звонок:

— Вам нужно сегодня сменить «девочек»! «Девочками» условно назывались пушки. Сменить их означает: вывезти в тыл старые, что на деревянном ходу, на их место поставить новые, на резиновом ходу, только что полученные. Задача как будто простая...

Веру вызывает начарт, чтобы она доложила ему, как именно будет выполнять приказание. По ходам сообщения, по простреливаемой дороге лейтенант Вера Лебедева приходит к начарту, разворачивает планшет, объясняет:

— Вот мои огневые точки. Если, считая слева, я оставляю без орудий первую и третью, то вторая и четвертая на это время будут охватывать весь сектор обстрела всех четырех орудий. Если гитлеровцы полезут, мы и двумя пушками встретим их горячо. Поэтому полагаю, оттащить в тыл сначала два орудия, — первое и третье. Когда заменим их новыми, оттащим и два остальных... Так смена произойдет не в ущерб обороне, на случай боя... А оттаскивать будем сюда, где кухня, — тут местность прикрыта холмом...

— Правильное решение! — заключает начарт. — С наступлением темноты приступайте!

Вера возвращается на свой командный пункт. Звонит командирам огневых взводов, приказывает надеть на пушки лямки, назначает людей. Старшего сержанта Кустова посылает разведать наилучший путь, по которому пушки до кухни — метров пятьсот — можно протащить без задержки. Назначает время: в 20.00 доложить о готовности.

В 20.00 принимает донесение: пушки подготовлены, передки поставлены, лямки надеты, дорога (не та, по которой ходят, там слишком грязно и пушки завязли бы) найдена.

Вера Лебедева отправляется на огневые точки, все проверяет сама, оттуда идет к кухне; уже темно, гитлеровцы бьют по переднему краю из шестиствольных минометов, секут его трассирующими пулями.

Вера выходит на левую крайнюю точку, самую опасную, потому что здесь нет ходов сообщения. Пробирается от дерева к дереву, от куста к кусту, от одной груды развалин к другой. Бугорок, яма, блиндаж — огневая точка Маркелова. Здесь все готово. Предусматривая всякие мелочи, Вера отдает последние приказания.

Орудие на руках выкатывают из ямы. Быстро, ловя моменты между вспышками немецких ракет, пушку катят по намеченному старшим сержантом Кустовым пути. Но тьма и грязь всюду... Дорогу трудно искать, кусты и ночные тени обманчивы... Вдруг внезапный минометный налет.

— Ложись!.. Рассредоточиться! — командует Лебедева, и люди рассыпаются по кустам.

Огневой налетом измолото все вокруг. Гитлеровцы переносят огонь.

Так, под непрерывным обстрелом, то отбегая от пушки, то вновь берясь за нее, переваливая ее через воронки и ямы, выволакивая из грязи, артиллеристы преодолевают полукилометровое расстояние до холма, за которым кухня. Здесь уже дожидаются новые, еще не стрелявшие по врагу пушки...

Потом все повторяется на огневой точке лейтенанта Васильева. К рассвету все четыре огневых взвода в полной боевой готовности, — орудия на местах.

Лебедева звонит в штаб. Докладывает начарту о том, что задача выполнена и потерь нет.

— Хорошо! — отвечает начарт. — Но если ты еще раз будешь бегать и не беречься, запрещаю вообще выходить с КП.

Надо бы теперь отдохнуть. Но некогда. Вера Лебедева идет на кухню. Проверяет приготовление завтрака для бойцов; перебирает полученную почту, просматривает газеты... Приходят командиры соседних подразделений, — нужно обсудить вопросы взаимодействия.

Множество мелких, но необходимых дел незаметно скрадывают весь день. Перед вечером на КП заходит командир соседней пулеметной роты — посоветоваться, как лучше на этом участке организовать разведку. Вера Лебедева угощает его обедом.

Начинает темнеть; пулеметно-автоматный огонь сменяется огнем минометов и ближней артиллерии. Ночью гитлеровцы начнут бить методически, с интервалами в тридцать — сорок минут, из всех видов оружия. Так уж повелось, — по ночам враг нервничает...

В восемь вечера Вера приступает к продолжению той работы, для которой требуется кромешная тьма: надо сменить еще две пушки...

Каждый день набегает новая будничная фронтовая работа. Ее всегда по горло. Спать можно только урывками, отдыхать некогда, но настроение у Веры Лебедевой всегда хорошее, — а сил хватит до самого дня победы...

Летом 1943 года должность заместителя командира по политчасти была на батарее, как и в других подразделениях, отменена, Веру Лебедеву назначили комсоргом полка в 84-й отдельный полк связи. Вскоре наши армии освободили Ленинград от кольца блокады; вместе со всеми частями фронта полк двинулся в наступление...

После войны мне довелось однажды встретиться с Верой Лебедевой в Ленинграде. Но потом я потерял ее из вида. Я не знаю, где ныне она живет и что делает. Я пытался ее разыскать, узнать хоть что-либо о ней, но пока безуспешно... Образ ее — правдивой, бесстрашной девушки, защитницы Ленинграда — всегда передо мной, когда я думаю о том, каких людей воспитывает в нашей стране Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи...



М. Стрешинский, И. Франтишев

Солдаты особого фронта

I

Разыгралась метель. Порывистый ветер валит с ног, слепил глаза колючей снежной пылью, Редко встречались прохожие на пустынных улицах Петроградской стороны.

Мария Прохорова медленно пробиралась по тропинке, петлявшей среди сугробов, и с горечью думала о том, как все изменило здесь суровое дыхание войны.

На площади Льва Толстого, недавно шумной и веселой, застыл обледенелый автобус. Неподалеку стоял трамвай маршрута № 3 с выбитыми стеклами, опущенный мохнатым инеем. Оборванные снарядами, свившиеся в клубки провода лениво раскачивались на ветру.

Обступившие площадь холодные дома казались мертвыми, покинутыми людьми. И только кое-где сквозь окна, забитые фанерой, выглядывали изогнутые железные трубы. Вырывавшийся из них дымок словно бы говорил: тут кто-то живет, кто-то греется у печки-временки.

Прохорова любила свою Петроградскую сторону. Она родилась и выросла в этом районе Ленинграда, знала его полным кипучей жизни. Потонувшие в сугробах снега безлюдные улицы, зиявшие черными провалами окон, израненные осколками здания, искореженные деревья вызвали в ее сердце щемящую боль. Но острее всего переживала она гибель и страдания товарищей и друзей.

— Не продашь ли хлебца, мамаша? — вдруг остановил ее вопросом длинный, сгорбившийся, как старик, подросток.

Мария вначале и не поняла, что это к ней обращаются. Потом вспомнила, какое на нее смотрело утром из зеркала неузнаваемо постаревшее лицо, и невольно усмехнулась. Трудно стало определять возраст людей.

Прохорова возвращалась к себе в Приморский райком комсомола.

В райкоме Марию ждали комсомольцы. У всех заострившиеся подбородки, обтянутые сухой кожей скулы, темные обводки вокруг глаз. Расселись на чем попало: на стульях, столах, подоконниках.

Среди посетителей Мария увидела и пожилого фронтовика в потрепанной, выдавшей виды шинели. На его порыжелых усах поблескивал иней. К нему первому подошла Прохорова; он без слов протянул ей комсомольский билет. Мария раскрыла его и услышала хрипловатый, застуженный голос бойца:

— Дочкин...

Глубоко вздохнув, словно ему не хватало воздуха, он добавил:

— Скончалась.

С крохотной карточки на Марию смотрело милостливое личико. Как ни мал был снимок, он передавал ощущение веселой, радостной молодости.

— Единственная она у меня была. И такая умница. Ткачихой работала. А ушел я в ополчение, какие письма на фронт присылала... «Не тревожься за меня» и все такое. Ни одного жалобного слова... Вот, дня на два опоздал.

Отец комсомолки смолк, пытаясь украдкой смахнуть набежавшие слезы. .

— Плохо, что мы ничего не знали о вашей дочери,— помолчав, сказала Мария.

— А что бы вы сделали? — грустно возразил ополченец. — Разве мало нынче таких, как моя дочь! Ленинградцам только мы, солдаты, по-настоящему помочь можем. Врагов от города отогнать.

Фронтовик вскоре ушел. Прохорова беседовала с ребятами, смотрела в их потускневшие глаза. Как ей хотелось, чтобы вновь загорелись они веселыми огоньками! Мария каждому из них помогала: кому достала талон в столовую, кому ордер на дрова, а кого устраивала в больницу. Но мучило сознание, что сделано мало. «Тех, кто к нам пришел, мы поддержали. А ведь многие не могут добраться».

Мария снова раскрыла комсомольский билет, который ей принес ополченец-отец. Нет уже этой девушки, любимицы семьи.

«Неужто мы ничего не можем сделать, чтобы избавить от медленного угасания других?» — волновалась Прохорова.

Своими мыслями Мария поделилась с товарищами.

— А что, если направить комсомолок по квартирам? Зайдут к больному человеку, и то ему веселее станет, — предложила второй секретарь райкома — Анастасия Сеницына.

— Скажешь, — с горькой усмешкой возразила соседка Сеницыной. — Думаешь, — посмотрят на наши кислые физиономии и плясать начнут? Тарелочку бы супу горячего принести — за это поблагодарят, это поможет подняться.

— В нашей квартире и во многих других есть люди, которые даже в булочную не могут пойти, — вступила в разговор третья девушка. — Так, гляди, и совсем свалятся.

«Каждый из работников райкома по-своему прав, — думала Мария. — Верно говорила Сеницына: надо пойти комсомольцам по домам, в квартиры. В ободряющем слове люди очень нуждаются. А разве и в другом нельзя им помочь: в магазин сходить, в аптеку за лекарствами, на завод за зарплатой, воды принести. Были бы руки, дела найдутся».

Так родилась идея комсомольского бытового отряда. Она понравилась секретарю райкома партии Харитонову.

— А люди для отряда найдутся? — спросил он, выслушав Марию. — Сами-то вы не очень... От ветра колышетесь.

— Подберем, Илья Степанович, — уверенно ответила Мария. — На заводы пойдем, поговорим с комсомольцами, и добровольцы найдутся. Вот приходили сегодня в райком сестры Галановы с завода «Красная Бавария». Вид у них, правда, совсем не блестящий, на палочки

опираются, но, когда спросила: «Девушки, а не вступите ли в бытовой отряд?» — обе выразили согласие.

— Хорошее дело, — в раздумье проговорил Харитонов. — Надо поддержать людей. Для нас это сейчас — передний край.

Мария не ошиблась — добровольцы нашлись. На зов райкома девушки откликнулись. Сестры Галановы явились со своими подружками — Паней Сутугиной и Марией Волковой. Вступили в отряд швейницы и трикотажницы с фабрики «Красное знамя» — Полина Догадаева, Катя Маркова, Вера Малова, Зина Смирнова. Линотипистка Аня Уникайнен привела молодых работниц с «Печатного двора».

Предприятия Приморского района дали в отряд семьдесят самых энергичных девушек. Правда, в ту пору они мало походили на задорных боевых девчат. Одеты — кто во что горазд, лишь бы потеплее. Походка нетвердая, и до того девушки исхудали, что подуй, кажется, ветер посильнее, — они повалятся, как подрезанные деревца.

Глядя на девушек, Мария почувствовала смятение. «А может, прав Илья Степанович — слабое у нас войско...»

— Начинаем мы, девчата, — заговорила она, — большое, но трудное дело. Кто чувствует — не под силу ему, лучше сразу сказать. Стесняться нечего. Поймем, не осудим.

Прохорова замолчала. Пусть комсомолки поразмыслят над ее словами. Стало тихо. Кто-то тяжело вздохнул. Заскрипел под кем-то стул. Две девушки полупшепотом перебросились несколькими фразами.

Полина Догадаева, поправляя выбившуюся из-под шапки прядку выющихся черных волос, сказала:

— В такое время нельзя нам сидеть в одиночку сложа руки.

— Верно! — поддержали девушки Догадаеву. Напрасными оказались сомнения Марии. Никто из комсомолок не сказал: «Не могу».

А дальше пошел уже деловой разговор: где разместиться отряду, как организовать питание бойцов. По образцу команд местной противовоздушной обороны решили создать штаб, разбить бойцов на звенья.

Командиром отряда райком назначил Полину Догадаеву, комиссаром — Надю Овсянникову.

Много возникло неясных вопросов: вот пойдут комсомолки по домам, увидят больных, которым требуется врачебная помощь, лекарства, горячая пища, тепло. Как тут быть?

Мария Прохорова вновь отправилась к секретарю райкома партии. Илья Степанович, слушая ее рассказ, делал заметки на листках настольного календаря. Конечно, отряду нужны и столовая, и собственный врач, и походные аптечки. Придется, видимо, закрепить за ним специальный магазин, в котором бойцы будут выкупать продукты для ослабевших. И потом выделить ордера на дрова и немного талонов на усиленное питание.

— Да... да... На усиленное питание. Не удивляйся, Мария, — говорил Харитонов. — Месяц назад мы этого еще не могли бы сделать. Бывали дни, когда в городе оставалось лишь на сутки продовольствия. Теперь чуть-чуть легче. Выручает нас «дорога жизни». В ожидании Прохоровой комсомолки не теряли время попусту. Командир и комиссар отряда распределили девчат по звеньям.

— И помещение для отряда нашли, — сказала вернувшейся Марии Догадаева. — В доме, где я живу, на углу Большого проспекта и улицы Красного курсанта, пустует столовая. Кухня есть, посуда, наверное, сохранилась и вода недалеко — Малая Нева рядом.

Полина как-то сразу освоилась с новой ролью.

Шел Полине двадцать третий год; работала она технологом швейного цеха фабрики «Красное знамя». Ее знали как настойчивую, с настоящим характером девушку. В четырнадцать лет она встала к машине, в семнадцать — ее назначили бригадиром. Полина не задрала нос, как порой бывает в таком возрасте. Поступила в вечерний техникум, работала и училась.

... В помещение столовой переселились на следующий день. Кухню и комнаты девушки быстро привели в порядок. Запаслись дровами, водой. Нашелся среди девчат и повар. Молодой врач Сергеева отобрала девушек в санитарное звено.

— Теперь можно и к людям пойти, — решили в штабе.

Поздним вечером Догадаева последней покинула столовую. По крутой темной лестнице поднялась к себе в квартиру. Дверь ей открыла сестренка Нина.

— Как мама? — тихо спросила Полина.

— Лежит...

Догадаевы жили в небольшой угловой комнате. Зимой к ним переселилась невестка с двумя малышами. Тесновато стало, но спокойнее и даже словно теплее.

Недели две назад мать почувствовала недомогание. «Начинается дистрофия», — поняла Полина. Свой скудный паек мать отдавала голодным внучатам. Долго крепилась, и вот не выдержала, слегла. Дочки старались поддержать больную мать.

Спали сестры вместе, на диване. Нина обняла старшую сестру, зашептала:

— Возьми меня в отряд.

— А что делать будешь?

— То, что и другие. Думаешь, — не справлюсь? Полина видела, как не по дням, а по часам взрослеет сестренка.

Рано, слишком рано пришлось ей распрощаться с веселым, беспечным детством. На первых порах необычной игрой казались девочке воздушные тревоги, отчаянная пальба зениток, дежурства взрослых на чердаках и крышах. Нину заставляли спускаться в бомбоубежище. При всяком удобном случае девочка норовила ускользнуть из-под надзора. Забиралась наверх вместе с другими ребятами, смотрела, как прожектора прощупывают ночное небо, сбрасывала с крыши зажигательные бомбы.

— Ну и дочурка у тебя, — сказал как-то матери командир группы самозащиты. — Отчаянная!

— Полина? — спросила мать.

— Нет, младшенькая.

Мать укоряюще смотрела на свою любимицу:

— В твои ли годы с бомбами возиться!

— А в какие годы можно?

Мать нахмурилась, махнула рукой.

— Тебя, Нина, не переговоришь. Смотри, будь осторожна.

Думая о сестренке, старшая Догадаева решила: «Найдется, конечно, для нее работа в отряде».

— Возьмешь? — не унималась Нина.

— Ладно, поговорю в штабе. Спи. Завтра вставать рано, горячий предстоит день.

II

У большого, семиэтажного дома 31 по Гатчинской улице остановились две девушки в лыжных брюках и серых ватниках. Головы их, повязанные шерстяными платками, припорошило снегом.

— Вот и добрались, Зина, — сказала Аня Галанова своей подруге. — Пойдем по этой лестнице.

— Хорошо, — кивнула Зина Смирнова.

Девушки очутились в парадной. Зажужжал электрический ручной фонарик и выхватил из темноты поблескивающую инеем дверь одной из квартир.

Белела кнопка звонка, но притрагиваться к ней было бесполезно. Онемел звонок, не горело электричество в жилых домах.

Постучали. Обождали минуту-другую. Никто не отзывался. Зина решительно дернула массивную ручку, дверь оказалась незапертой, и подруги вошли в переднюю.

— Есть тут кто? — громко спросила Аня.

В квартире — тишина. Ни звука, ни шороха.

— Заглянем в комнаты.

Опять зажужжал фонарик. В комнате ветер гулял, как на улице. Сквозь выбитые стекла намело много снега.

Открыли дверь в соседнюю комнату. Глаза ничего не могли разглядеть в полумраке. Пришлось снова пустить в ход спасительный фонарик. Кто-то лежал на большой кровати, укрытый горой одеял и одежды. Подруги подошли ближе.

— Вам плохо? — спросила Аня. Ответа девушки не услышали. Зина подбежала к окну, сорвала черный лист бумаги.

В постели лежала женщина с почерневшим, землистым лицом. Она дышала тяжело, а большие, глубоко запавшие глаза неподвижно смотрели вверх.

— Давно болеете? Может, есть хотите? — допытывались подруги. Зина достала из сумки ломтик хлеба, протянула больной, но та по-прежнему безучастно смотрела в потолок.

— Сходи за врачом, Зинуша. Ей совсем плохо. Сама видишь, — лежит без сознания.

Тягостные минуты пережила Аня в этой комнате наедине с человеком, который доживал свои последние минуты. Слезы невольно потекли по щекам. Было горестно оттого, что пришли слишком поздно.

Когда появились Зина и отрядный врач Сергеева, они по расстроенному лицу Ани поняли: медик уже не нужен.

В этот день подруги побывали еще в нескольких квартирах дома 31. Некоторые из них пустовали, в других люди ютились только в одной — двух комнатах, согреваясь у чадающих «буржук», по очереди выбираясь за хлебом в булочную и за водой на реку.

В квартире 10 жили рабочий Иван Ефремович Горбунов и его жена Марфа Егоровна Щербакова. Продолговатую комнату еле освещала маленькая жестяная коптилка. Девушки не без труда разглядели сидевшую на диване пожилую женщину в пальто и валенках, заросшего бородой мужчину, лежавшего в кровати.

— День добрый, — приветствовала хозяев Аня.

— Ждем этих добрых дней, — ответил мужчина невесело, глядя на худенькую, тонкую, как тростинка, Галанову.

— Вернутся, — промолвила Аня. — Побили немцев под Москвой, под Ленинградом так же будет.

— побыстрее бы, доченьки, а то уж сил мало.

— Мы вот за чем пришли, — продолжала звеньевая. — Доктор вам нужен — пришем, за лекарством можем сходить, обед из столовой доставить. Держитесь только...

— Мы с женой порешили: не сдаваться.

После недолгой паузы Иван Ефремович спросил:

— А вы кто будете? С завода или домохозяйства? Зина достала удостоверение, протянула его Марфе Егоровне. Та раскрыла небольшую книжечку в красной обложке и вслух прочла: «Настоящим удостоверяется, что Зина Смирнова является бойцом комсомольского бытового отряда Приморского района».

— Не слышала о таком, — пожала плечами хозяйка. — Чем же вы занимаетесь?

— А сейчас увидите, — улыбнулась Зина.

Девушки сняли с себя ватники и стали хозяйничать. Сложили разбросанные в беспорядке вещи, подмели пол, вымыли посуду, разломали старый табурет. Вспыхнувший огонек, тепло, растекавшееся по комнате от накалявшейся печурки быстро сблизили хозяев квартиры с девушками.

Часа три провели Аня и Зина в десятой квартире. Прощаясь, Иван Ефремович просил:
— Обязательно приходите. Будем ждать вас.

Уже темнело, когда подруги, вместе с другими бойцами звена, обходившими квартиры дома 31, направились в отряд.

Возле булочной девушки увидели мальчугана. Голова его была повязана большим платком, ноги обмотаны тряпьем. Он стоял растерянный, прислонившись к холодной стене, и крупные слезы поблескивали на его закопченном личике.

— Что с тобой? — наклонилась к пареньку Аня. — Чего плачешь?

Восьмилетний Лева Касаткин — так звали мальчугана, — совсем разрыдавшись, поведал о своем несчастье. Бабушка послала выкупить хлеб; он пришел в булочную, а карточек нет. Куда подевались, — не знает. А как идти домой без хлеба?

Девушки узнали, что отец Левы воюет с фашистами, а мать недавно скончалась.

— Возьмем его с собой, — предложила Зина. — Пусть у нас отогреется. Посоветуемся в штабе — как с ним быть.

Девушки привели мальчика в отряд, покормили. Медсестра размотала тряпье на ногах.

— Бедняга, как же ты ходил? — глядя на посиневшие, обмороженные ноги, взволнованно спрашивала Полина Догадаева и тут же распорядилась устроить Леву в детскую больницу.

— А ты, Аня, — сказала она Галановой, — пошли кого-нибудь к бабушке, на улицу Зеленина, 17; вероятно, беспокоится о внуке, да и о хлебе. Пусть утешат ее — завтра попробуем раздобыть новую карточку.

Дверь столовой беспрерывно хлопала. После дневного труда девушки возвращались в отряд.

Часам к семи собрались все бойцы. Вернулись усталые, замерзшие. Некоторые, добравшись до теплого и тихого местечка, сразу крепко заснули. Другие еще бодрились.

В дальнем углу, куда почти не проникал мутноватый свет подмигивающей керосиновой лампы, кто-то негромко рассказывал:

— В квартире пусто, холодно. И живет там один старик, профессор, по фамилии Крижесинский. Совсем отоцал, в чем только душа держится. Печурки истопить не может. Нашли мы на кухне пустой ящик, разожгли времянку. Хорошо бы чаек согреть, но в квартире — ни капли воды. Замерзли, полопались трубы. Пришлось за километр за водой идти. Сама не знаю, как ведро дотащили...

— А мы к Тучкову мосту ходили, — слышалось из другого угла. — Спускаешься к реке по обледенелым ступеням. Того и гляди — кубарем покатишься. А поднять наверх тяжелое ведро...

— Ой, девочки, ноги подкашиваются, — перебил приглушенный голосок, — отекли, распухли. Завтра, верно, не приду.

— И мне не под силу к проруби лазить, — призналась еще одна, — руки потрескались, припухли...

Полину встревожили жалобы девушек. Язык не поворачивался попрекнуть их. Ей вспомнились слова из памятки бойцам бытового отряда «Не гнушайся трудной черновой работы, сделай все, что можешь». Что и говорить, девушки не щадят себя.

Догадаева передала Прохоровой невольно подслушанный разговор. «Неужели не придут завтра?» — волновались они.

III

Настало утро. К восьми часам являлись бойцы. Пришли все до единого. Никто не спасовал.

С нежностью оглядывая комсомолок, Прохорова радовалась:

— Каковы, а? Все налицо.

— Настоящие люди! — с гордостью за подруг сказала Полина.

Девушек в лыжных брюках и стеганых ватниках скоро узнали и полюбили жители Приморского района. Бойцы «осваивали» дом за домом, квартиру за квартирой. Впрягшись вдвоем, втроем в салазки, они возили дрова со склада, который находился за несколько километров. И в ледяной комнате, где все промерзло и изо рта валил густой пар, становилось тепло, уютно. Обожженными морозом руками девушки стирали белье. Ходили порой на другой конец города за зарплатой или пособием для больных. Выкупали для них хлеб и крупу в магазине.

Самыми, пожалуй, желанными гостями в домах являлись отрядные разносчики пищи. Среди них была и Нина Догадаева. В широком ватнике и длинных не по росту лыжных брюках, с трудом подобранных для нее в отряде, Нина казалась старше своих четырнадцати лет.

Вот идет она по Кировскому проспекту. Под ногами похрустывает снежок. Морозный ветер леденит руки, в которых она крепко сжимает алюминиевые бидончики. Быстрей, быстрей, — подгоняет мороз, и Нина торопится, хотя трудно ступать в больших валенках. Девочка ищет дом 44, изредка поднимает голову, разглядывая покрытые изморозью неразборчивые номерные знаки.

Наконец и нужный адрес. Нина начинает трудный подъем по скользким ступенькам и мысленно повторяет: «Третий этаж, дверь налево». Одну лестничную площадку одолела, другую, третью. Остановилась, осторожно поставила бидоны, достала спички, чиркнула и осветила на дверях крупно написанную мелом цифру. «Дошла, — обрадовалась Нина, — девушки верно объяснили».

Из комнаты пахло теплом. Тут уже сегодня побывали бойцы бытового отряда... Нина подошла к постели и спросила старенького седого человека:

— Вы профессор Крижесинский? Старик кивнул головой.

— Обед вам принесла.

Нина подошла к печке, прикоснулась рукой — еще совсем теплая. Сунула бидон в печь.

— Покормить вас?

Профессор снова кивнул и подсказал:

— Тарелки в буфете.

Нина достала посуду, налила суп в тарелку, присела на стул у кровати и, как маленького ребенка, начала кормить профессора. Она осторожно, бережно, стараясь не пролить ни одной капли супа, подносила ложку к вздрагивающим губам голодного человека.

Затем Нина положила в тарелку манную кашу. Старый профессор ел и молча разглядывал девочку, которая деловито хлопотала в комнате. Ее косички растрепались, на вздернутом носике блестели капельки пота.

— Спасибо, маленькая хозяйка, — потеплевшим голосом поблагодарил профессор. — Может, посидишь у меня, отдохнешь?

Нина отрицательно покачала головой.

— Не могу. Меня ждут.

— Вот как? Значит, не один я у тебя. Много приходится ходить?

— По-всякому бывает.

— На улице сейчас страшно?

— Да что вы, совсем нет. Добираться только трудно, к иным домам и тропки нет. Когда фашисты стреляют, прислушиваюсь, где снаряды рвутся; если близко, пережду, далеко,— иду дальше.

Девочке и в самом деле не было страшно; она успела привыкнуть к суровому быту города-фронта.

Когда Нина ушла от профессора, ученый задумался о судьбе маленькой ленинградки. Сидеть бы девочке в теплом классе, за партой, носиться с подружками на лыжах, в кино ходить. А тут такая тяжесть навалилась на ее неокрепшие детские плечи. Жизнь впроголодь. Опасные странствия по обезлюдившим улицам.

Нина взбиралась каждый день на третий этаж к профессору Крижесинскому. Ученый с нетерпением ждал прихода полюбившейся ему девочки и, как только она открывала дверь, оживлялся. Если Нина задерживалась, волновался: не заболела ли, не попала ли под снаряд. И девочка всей душой привязалась к доброму старику, знакомила его с жизнью отряда, рассказывала о людях, с которыми встречалась.

— Вы — мой корень женьшень, — сказал как-то ученый.

Девочка не совсем поняла, о чем говорит профессор.

— Это чудесное лекарственное растение, — объяснил тот. — Корнем жизни называют его в Китае. Он спасает обреченных людей.

Однажды Нина пришла сильно расстроенная. Профессор почувствовал это сразу. Девочка невпопад отвечала на вопросы, в глазах ее затаилась печаль.

— Что с тобой, Нина?

— Мама вчера умерла, — сказала девочка. Ее и без того обескровленное лицо еще больше побелело.

— Зачем же ты пришла? — вырвалось у профессора.— Посидела бы денек-другой дома, успокоилась.

— Разве горе развеешь, сидя дома? — рассудительно, совсем по-взрослому проговорила Нина.

Профессор жалел девочку, утешал ее и в душе не мог не восхищаться ее твердостью.

— Тяжело нам теперь, Ниночка, — взволнованно сказал он. — Сколько бед! А выстоять надо. Иначе смерть победит жизнь.

Нина не ответила. Вымыла тарелку, поставила ее на буфет. Затем поправила постель, попрощалась и ушла.

Свою старшую сестру Нина застала в штабе. Потрясенная смертью матери, Полина сидела словно окаменев, ничего не замечая вокруг. Нина подошла к сестре, обняла ее и вполголоса сказала:

— Нельзя так, Полина. Ты командир, на тебя другие смотрят.

Полина с удивлением подняла голову. Маленькая сестренка стояла рядом строгая, не по летам серьезная. Такой она ее еще не видела. «Мы ведь с тобой взрослые», — говорила Нина. И еще поразили Полину слова сестры: «Нам тяжело, а выстоять надо. Иначе смерть победит жизнь».

Полина поднялась с места, расправила плечи, как бы стряхивая тяжелые переживания.

— Верно, сестричка, слезами печаль не утолишь. Она раскрыла знакомую бойцам отряда толстую тетрадь. Еще немало в ней невыполненных «заявок на помощь».

Назавтра сестры Догадаевы хоронили мать. Запеленали в серое байковое одеяло и на руках, легкую, высохшую, вынесли во двор. Несколько женщин спустились проводить ее. Они молча стояли, отдавая последний долг своей тихой соседке.

— Прощай, родная,— сказал кто-то дрогнувшим голосом.

На кладбище сестры повезли мать на санках. Скрипел под полозьями искрящийся на солнце снег. Полине вспомнился недавний разговор с матерью. Мать лежала на постели тихая, присмирившая.

— Тебе плохо, мама? — забеспокоилась Полина.— Может, мне остаться?

— Ничего, дочка. Мне как будто лучше. Поправлюсь. Пойди в свой штаб, там, небось, ждут тебя.

Только теперь дошло до сознания Полины: не хотела мать ее расстраивать, отрывать от дела, так нужного людям.

Начинало темнеть, когда сестры возвращались обратно. Легкие салазки подпрыгивали на сугробах. Молчаливая, настороженная тишина висела над городом.

Домой сестры не заглянули. Пусто теперь в их комнате. Невестка живет на заводе, в общежитии. Ребятишек определили в Дом малютки. Никто не встретит сестер в тесной когда-то квартире.

Мария Прохорова ни о чем не расспрашивала Полину. Рассказала, как прошел день в отряде, что наметили делать завтра.

— На Большую землю, — сообщила она, — отправили сегодня профессора Крижесинского. Перед отъездом попросил он девушек взять на память в отряд подарок — красивую фарфоровую вазу. «Берите,— уговаривал профессор, — не обижайте старого человека». Очень жалел он, что не попрощался с Ниной. Велел ей поклониться до земли. Так и сказал...

IV

Разговор подруг прервало появление незнакомой женщины в длинном, ниже колен, полушубке. На голове у нее была барашковая шапка, повязанная сверху ситцевым платком.

— Выручайте, девчата, — промолвила она, усаживаясь на свободный стул.

— А что случилось?

— Живем мы, значит, на Резном переулке, — говорила женщина. — В квартире нас трое. Я, как видите, креплюсь. Знаю: сляжешь, потом подняться трудно. А с соседкой плохо. Девятимесячный ребенок у нее. Прослышала по радио о вашем отряде и говорит: «Сходи, пожалуйста, в штаб... Не себя жаль, а дите». Вот я и добрела.

— Спасибо вам, — поблагодарила Догадаева. — Завтра придут к вам бойцы отряда.

Полина записала адрес в тетрадь. Были тут тысячи фамилий, и с каждым днем заполнялись все новые и новые страницы.

Добрые вести о делах отряда перешагнули уже границы Приморского района. О них заговорили на Выборгской стороне и на Васильевском острове, за Нарвской заставой. Всюду начали создаваться бытовые дружины и отряды.

«Белым пятном» для приморцев все еще оставалась дальняя окраина района, и однажды утром туда направилось звено Ани Галановой.

От штаба отряда до Новой Деревни как будто рукой подать, четыре—пять километров. Но трудные то были километры. Вьюга заметала пешеходные стежки даже на Кировском проспекте, а поближе к Каменному острову начиналась снежная целина; двигались словно не улицами Ленинграда, а по открытому полю, утопая в снегу.

Впереди шла рослая Мария Галанова. За ней гуськом, стараясь попадать след в след, вытянулась вся десятка.

Холод пронизывал насквозь. Ускорить бы шаг, согреться, да боязно — выдохнешься, растратишь силы.

Мария, не оглядываясь, упрямо прокладывала путь. И девушки не оборачивались и не видели, как поземка быстро замечает за ними следы.

Усталые, продрогшие, они с облегчением вздохнули, добравшись до небольшого деревянного домика на дальнем конце Новой Деревни. Здесь помещалась контора домохозяйства. У дышавшей жаром плиты сидело несколько человек.

— Откуда вы, девушки? — спросил управхоз, немолодой однорукий мужчина.

— Из районного бытового отряда.

Хорошо после тяжелого перехода вытянуть отекающие ноги у горячей плиты. Так бы сидеть и сидеть, согреваясь, слушая, как завывает ветер за окном. Но разморит тепло — страшно выбираться на мороз. А зимний день короток. Аня стала торопливо выяснять у управхоза, где прежде всего побывать.

— Куда ни заглянете, — везде помощь нужна, — сказал управляющий.

Разбились на небольшие группы и направились в первую разведку. Девушки занялись своим привычным делом.

Люди обрадованно встречали пришельцев с Большого проспекта.

— Тяжело к нам добираться, — сочувственно говорили они. — Устали, верно.

— Не без того.

Надвигались сумерки, когда девушки подошли к последнему домику, которым заканчивалась улица. Он стоял поодаль от дороги, по окнам погруженный в снег. Не видать к нему следов, никто, видно, тут не ходит. Домик, наверное, пуст, а проверить все же не мешает. Кое-как пробрались к крыльцу.

И, правда, пришли не напрасно. Мальчик лет двенадцати сидел сгорбившись на полу, не в силах взобраться на постель, опухший, посиневший от холода. На него нельзя было спокойно смотреть.

Что делать? Оставить его до прихода врача — замерзнет, погибнет.

— Поищи саночки, — предложила звеньевая своей тезке, Анне Григорьевой. Та отличалась завидной исполнительностью. На этот раз ей не повезло: долго искала, а вернулась с пустыми руками.

— Как же быть, девочки? Оставим?

Аня Галанова знала: подруги никогда не согласятся бросить паренька.

Девушки молчали. Вспомнили, как шли утром. Тогда день только начинался, и то, казалось, не осилить последнего километра. Возвращаться в сумерках будет тяжелее.

— Понесем его. Доберемся как-нибудь.

Анна Григорьева первая несла мальчугана. Одетого в зимнее пальто, тепло укутанного, его посадили к ней на спину; и девушка, согнувшись, медленно ступая, вышла из домика. Сделала несколько шагов, и тяжелая ноша начала давить все сильнее. Остановиться? Спустить паренька наземь? Но пройдено лишь метров двадцать.

Анна, мокрая от пота, еле переставляя ноги, стала считать шаги: «двадцать пять... тридцать один... тридцать девять...», пока не услышала голос Марии Талановой:

— Давай мне!

Мария шла пригнув голову и перед глазами видела только следы подруг. С каждой секундой становилось трудней, и ей казалось, что вот-вот она свалится наземь вместе с мальчуганом.

Паренек неожиданно прошептал:

— Замучаетесь. Бросьте меня.

— Что ты! Что ты! — укоризненно повторяла Мария, прижимая к себе мальчонку. И то, что он заговорил, приободрило девушек.

Несколько часов, передавая свою ношу с рук на руки, совершали комсомолки обратный путь из Новой Деревни к центру района. И только поздним вечером смертельно усталые и счастливые, они передали мальчугана на попечение медсестер детского дома.

V

Наступила весна 1942 года. Полуденное солнце искрилось и плавилось в голубом небе. Щедрые теплые лучи приветливо ласкали нежно-зеленые листочки тополей и кленов. Освободились от снежного покрова улицы. В скверике, за резной изгородью, женщины не спеша лопатами вскапывали и рыхлили землю, разбивали огородные грядки.

По Кировскому проспекту, бойко позванивая, прошел трамвай маршрута № 3, может, тот самый, который еще не так давно недвижно стоял на площади Льва Толстого.

Приметы воспрянувшей всепобеждающей жизни ощущались на каждом шагу. Мария Прохорова и Полина Догадаева, подставляя лица солнцу, шли по тротуару.

Знакомая, исхоженная ими сотни, тысячи раз улица. Знакомый двухэтажный дом на углу Большого проспекта и улицы Красного курсанта. Он тоже как будто помолодел под весенним солнцем. Не так уж часто хлопали здесь двери — просителей становилось день ото дня меньше и меньше. И лишь почтальон продолжал ежедневно приносить в штаб кипу писем. Но речь в них шла уже не о помощи, а совсем о другом.

Девушки принялись разбирать письма.

Отец Левы Касаткина, того самого мальчика, которого с обмороженными ногами бойцы подобрали у булочной, прислал с фронта второе письмо.

Касаткин благодарил комсомолок, позаботившихся о его сыне и матери. «Мой мальчик, — писал он, — не останется калекой. Сейчас он на Большой земле, а когда подрастет, еще не раз сам вас поблагодарит... Вы — настоящие героини. У вас, ленинградец, мы, солдаты, учимся стойкости и мужеству».

Девушки прочли и такое письмо:

«Мы, больные Щербакова и Горбунов, проживающие по Гатчинской улице, дом 31, квартира 10, выражаем самую глубокую благодарность как лично бойцам Талановой и Смирновой, так и всей районной комсомольской организации.

Вовек не забудем, что сделали для нас ленинградские комсомольцы. Я и мой муж обязаны вам спасением своей жизни».

«Обязаны спасением своей жизни», — эти слова могли повторить тысячи ленинградцев. Солдаты особого фронта, девушки в лыжных брюках и серых стеганых ватниках, под которыми бились геройские комсомольские сердца, оказались достойными дочерьми города-фронта.



Р. Федоров

В огне

I

Это был трагический день для Любушки Гусевой.

Последний ее день.

Четырнадцатое января тысяча девятьсот сорок Третьего года...

Как обычно, девчат спозаранку разбудила строгая Шура Кузнецова, — все называли ее почтительно «товарищ командир». Она была уже в своем аккуратном ватнике, в ушанке, в рукавичках. Проходя между кроватями, Шура тормозила девчат:

— Подъем!.. Слышите, подъем!

В крохотные щелочки почти наглухо заколоченных окон едва пробивался мглистый ленинградский рассвет. Было холодно, зябко: термометр показывал в комнате чуть поменьше плюс пяти. Никто не решался вставать.

— Ну, что же вы! — обиженно прикрикнула Кузнецова на подруг. Ей было жаль их — изголодавшихся, худеньких, окоченевших. А что поделаешь: служба, война... — Смелее, девчата, смелее!

Шура присела около Любушки, склонилась над ней и стала отогревать ее своим дыханием:

— Ау, где ты?

Любушка нехотя высунулась из-под одеяла и сонно протянула, облизывая сухие, слипшиеся губы:

— Еще минуточку... только минуточку!

В маленькое стеклышко напротив ударил первый луч. Процедившись в комнату золотистой струйкой, он побежал к Любиной кровати, но задержался и светлым, трепещущим облачком лег на железный ствол печной трубы.

Любушка с неожиданным проворством прыгнула на пол.

Впе-ре-ед, заре на-а-а-встре-е-чу!

Одеваясь, она пела приятным тоненьким голоском и, в конце концов, подняла всех девчат.

Одна лишь Зина Карпушина не могла собраться с силами. Уткнувшись в жесткую казарменную подушку, она жалобно причитала:

— Нет, не встать мне, ни за что не встать... Подруги уговаривали ее:

— А ты перебори себя, встань. Нельзя валяться, — понимаешь?

Зина тихонько всхлипнула:

— Не могу-у...

«Товарищ командир» и Любушка бросились к ней:

— Давай, поможем... Р-раз — взяли!

Тем временем дневальная принесла охапку дров. Кто-то из девчат постарался запастись водой. И все они — тринадцать подруг — уселись вокруг «буржуйки» и стали дожидаться, пока закипит их жестяной чайник.

— Эх, девчата, — вздохнула Зина, — корочку бы поглотать!

Тотчас со стороны донеслось:

— А моя мама — та постоянно баловала меня пирогами. Каждое воскресенье... С мясом, с рыбой, с капустой. Душистые-предушистые, вот ей-богу!

— А у нас в детдоме нянюшка была — тетя Феня. Такая, скажу, мастерица по засолке грибов — просто ужас, девчата! Подберезовики кладет отдельно, волнушки — отдельно, грузди, само собой, — отдельно...

— Нужны твои грузди! — рассердилась Карпушина. — Корочку бы, сухарик... Ни днем, ни ночью нет покоя: сосет и сосет.

Любушка насмешливо уставилась на Зину:

— Опять за свое: грузди, пироги, сухарики... А знаете, девчата, что я надумала?

— Что?

— Прическу сделаю. И обязательно — с локонами. Факт!

— При-чес-ку?

— Ну да, прическу.

— Сдурела наша Люба.

— Нисколечко! Вчера договорилась с заводской парикмахершей. После отбоя виделись... К девяти утра обещала быть.

Любушка козырнула Кузнецовой:

— Разрешите действовать, товарищ командир? Шура добродушно усмехнулась:

— Ступай!

От парикмахерши она вернулась посвежевшей, хорошенькой. Глаза светятся, добрые, ласковые глаза. Лицо порозовело. У висков — локоны, локоны...

Девчата заволновались, повскакали с мест:

— Вот это здорово!

— Картинка...

— Я тоже пойду!

— И я...

Даже Зина Карпушина оживилась:

— А я-то чем хуже вас? Любушка сказала:

— Правильно, девчата. Пусть у каждой будет прическа... Наперекор врагам!

В одиннадцатом часу пришел посыльный из штаба — старик Евсеич. Отыскав с порога «старшую», он деловито распорядился:

— Кузнецова, тебе и Гусевой прибыть на командирские занятия. Остальным — в убежище... Вопросы имеются? — Заметив Любину прическу, старик лукаво подмигнул, крякнул: — Ишь ты, краля какая!..

Утро выдалось студеное, по-январски крепкое, ясное, и весь заводской двор, заваленный сугробами вплоть до самых дальних корпусов, ослепительно сверкал под ярким солнцем.

Было тихо, очень тихо.

Шура и Любушка шли не спеша, взявшись за руки, как на прогулке.

То тут, то там им попадались обрушенные стены, исковерканные крыши, оголенные — без единого стеклышка — окна, фонари. Из-под снега угрожающе топорщились скрюченные балки, куски проржавевшего железа, вздыбленные рельсы...

Завод стоял, гигантский завод — знаменитая ленинградская «Электросила».

Но там, в полутемных, наскоро залатанных цехах, склонялись у холодных машин рабочие. Под прямой наводкой вражеских батарей они точили цилиндры для снарядов и мин, собирали корабельные моторы и те черненькие, величиною с ладонь, жужжалки-фонарики, которыми освещался по ночам весь Ленинградский фронт от Финского залива до Ладоги.

Горстка отважных, горстка храбрецов! Женщины, потерявшие мужей, невесты, проводившие на войну женихов, старики...

— А знаешь, Шурик, — Любушка прижалась к подруге плечом, — уйду я все-таки отсюда... Уйду! Вон туда — на передовую.

— Что это вдруг?

Они остановились у дверей штаба.

— И вовсе не вдруг: давно думала. Валино письмо окончательно убедило. — Любушка порылась в кармане, вытащила синий конвертик с треугольным штампом: «красноармейское». — Нет, ты только взгляни на этого бравого солдата — Валька Беляева в серой шинели!

— Да ведь мы с тобой, никак, раз десять смотрели на нее?

— Сердишься?.. Пойми, Шурик, не могу я дольше оставаться, не могу. Как увижу эти развалины, людей, особенно Зину, так во мне все и закипит, каждая жилочка вздрагивает!.. Ну, что тут за война? Нет, нет, уйду!

— А дисциплина? Комсомол?

— Объясню, буду просить... Не станут же держать человека в тылу.

— Как, как говоришь?— Чуть отстранившись от Любушки, Кузнецова метнула в нее суровый взгляд. — Хорошенький тыл!

Где-то в стороне, должно быть, за Пулковом, ухнула тяжелая пушка. Ввинчиваясь в сухой морозный воздух, засвистел снаряд. С противным воем он врезался во второй цех и выворотил часть стены.

Шура схватила за рукав Любушку, притянула к себе:

— Тыл, говоришь?

Теперь уже гроыхала не одна пушка — видимо, целый дивизион или полк. Снаряды падали и падали, взрываясь с такою оглушающей силой, что казалось, вот-вот рухнут все заводские корпуса, массивные, громоздкие корпуса, даже сама земля обвалится, рухнет под этим огненным шквалом.

Такого обстрела еще не бывало.

Девушки бросились в штаб. Семеня по ступенькам, Шура увлекла за собой Любушку:

— Скорее! Скорей!

В штабе были печальные известия. Только что донесли с постов: несколько прямых попаданий в столовую; много убитых, раненых; горит обеденный зал...

— Любушка! — Шура похолодела, но тотчас взяла себя в руки. — Спешим!

Медико-санитарная команда была неподалеку, в убежище. Наскоро построив бойцов, Кузнецова приказала:

— Комсомольцы, два шага вперед!

Вышли все.

— Требую: зря не рисковать. Но если понадобится... — У Шуры дрогнули губы. — За мной!

Обстрел усиливался. Снаряды ложились кучно, осыпая дорогу градом осколков. Девушки цепочкой пробирались к пылавшим развалинам столовой. Падали в снег. Подымались, бежали. Опять падали. Опять подымались. Кого-то из них ранило. Еще одна вскрикнула от обжигающей боли... А они бежали, бежали, крепко сжимая носилки.

Столовой уже не было. На почерневшем фундаменте догорали обуглившиеся стропила. Немного поодаль валялись разбитые колонны, большая кухонная плита, расколотый надвое чан...

Забыв о предосторожности, девушки лезли в самый огонь пожарища, надеясь отыскать раненых.

Люба держалась около Шуры. Из-под обломков им удалось вытащить Марусю Ревенкову, повара. Та еле дышала.

Любушка и Шура уложили Марусю на носилки и заторопились с ней в безопасное место. Ревенкова протяжно стонала.

Обстрел стал понемногу затихать и, наконец, вовсе прекратился.

— Ну, кажется, отвязались гады, — в сердцах проговорила Кузнецова. Кивнув девчатам, она взялась за носилки: — Быстренько. В убежище!

Мороз перехватывал дыхание. Зябли руки. Но никто не смел и подумать об остановке. Главное — как можно скорей доставить раненых в укрытие.

На полпути до убежища к ним донесся сухой треск выстрела. Потом — еще, еще... По студеному небу, повизгивая, летели снаряды. Теперь они падали в центре завода, кромсая то один, то другой цех.

Шура обернулась к Любушке:

— Передай девчатам: «Прибавить шагу... Бе-е-гом!»

Ныли плечи. Давило грудь. Пальцы сделались как ледяшки... И все-таки медико-санитарная команда добралась до цели без потерь.

Бойцов ждал новый приказ. На обстреливаемом участке появились раненые. Нужно спасти их.

«Бедные девчата», — подумала Шура и первой вышла из убежища.

Слепящее солнце ударило ей в глаза.

С Пулковских высот, со стороны залива, Шушар доносились орудийные раскаты. Била наша артиллерия.

— Слышите? — Кузнецова придержала подруг у выхода. — Слышите? Наши молотят фашистов!

Любушка насторожилась:

— Верно...

Ее поддержали:

— Наши!

А рядом с убежищем рвались и рвались снаряды, взметая столбы дыма.

Действовать всем сообща было опасно, — разделились на группы. Часть бойцов — в обход слева — повела Кузнецова, остальных — правой стороной — Любушка. План был такой: попав в ближний корпус, пройти под прикрытием его сводов и через боковой выход свернуть к соседям. Там-то, в главном очаге поражения, и требовалась неотложная помощь.

Где короткими перебежками, где ползком, волоча за собой носилки, пробирались девчата. Казалось, им не одолеть этих ста метров, которые отделяли их от корпуса... И вот, наконец, дверь, желанная дверь! Юркнув в нее, все без сил повалились на холодный, заметенный снегом пол.

В огромном пустующем корпусе было темно, как в погребе. Лишь в пролом стены падал бледный пучок света, обрисовывая ребристый край одиноко стоявшей машины.

Кузнецова заволновалась: «Почему нет Любушки?» Вскочила с пола, выглянула в дверь, крикнула:

— Люба, Люба!

Чей-то слабый голос печально отозвался:

— Тут мы, тут...

Шура вздрогнула: «Не Любушкин голос!» Метнулась к девчатам:

— Идите... Я сейчас! — И выбежала из корпуса. За углом на носилках лежала Любушка. Мертвая Любушка. И только ее глаза, добрые, ласковые глаза светились, не успев потухнуть.

Кузнецова склонилась над подругой.

II

Девушки плакали. Плакали все, даже сдержанная, не по годам суровая Шура Кузнецова, «товарищ командир».

— Эх Любушка, Любушка!

Зина Карпушина сказала сквозь слезы:

— Веночек бы ей положить...

Переворошили чемоданы, вещевые мешки — собрали все ленты, все бантики.

Сели за венки.

Отворилась дверь. Вошел посыльный штаба старик Евсеич, горестно вздохнул:

— Нету нашей Любушки, веселой крановщицы из цеха номер девять. Нету! — Повернулся, тихонько притворил за собою дверь.

Шура не видела лент — красных, желтых, синих, зеленых. Руки сами плели венки.

Она думала о Любушке, силясь припомнить тот день, когда они подружились и стали точно сестры. В войну это было или раньше? Конечно, раньше, гораздо раньше!

Хотя в действительности их дружба длилась три, ну, самое большее, четыре года, Шура никак не могла представить себе свою жизнь без Любушки. Ей почему-то казалось, что они всегда были вместе. И в далекой псковской деревушке Пентяшево, где росла Шура. И в селе Шмойлове, где была ее первая школа, — тенистый сад на горе, а под горой тихая, спокойная река, Черёха. И тут, в городе, на шумном, кипящем проспекте, где высились корпуса «Электросилы».

Собственно ее, Шурина, судьба сложилась не совсем так, как бы хотелось. С детства она мечтала быть педагогом. И старенькая ее учительница Софья Артуровна прочила ей эту будущность, даже позволяла заниматься с малышами-первоклассниками... Не сбылось! Шура приехала в Ленинград — розовощекая, сероглазая, стриженная под мальчишку, — не чуя под собой земли, кинулась на Звенигородскую улицу, разыскала высокий красивый дом по левую руку — там и сейчас педучилище, — с бьющимся сердцем взбежала наверх, в канцелярию: «Можно сдавать экзамены?» Увы, ей отказали: общежитие переполнено, ждите год... По широкой парадной лестнице она спустилась вниз приунывшая, задумчивая: «Куда же теперь?» И тут-то, вдруг осмелев, приняла первое самостоятельное решение. На завод!

Все они так начинали. И Шура Кузнецова, и Зина Карпушина, и Валя Беляева, и Любушка. Все. Одна чуть раньше, другая чуть позже. На Сызранской улице в уютно обставленных квартирках для девчат «электросиловской» школы ФЗУ и поселилась Шура.

Будущие обмотчицы... Она быстро свыклась с этой переменной. В конце концов, быть рабочим человеком совсем неплохо. А некоторые девчонки жаловались поначалу, даже ревели: «Хотим на курсы чертежниц!»

Тогда их всех собирал у себя директор школы Федин; его с любовью называли «отцом фабзайчат».

— Ведь это же главное дело на заводе, богатая профессия! — убеждал он девчат.

Девушки успокаивались.

Была у них и мать, общая на весь дом — милая, добрая тетя Паша. Она ухаживала за ними, как за собственными детьми, примиряла их, если они ссорились, ласкала, если грустили по родному крову, по близким. Девчата доверчиво несли ей свои маленькие тайны, секреты, и она, всегда такая душевная, умела найти нужное слово, дать толковый, воистину материнский совет.

«Отец фабзайчат», приветливая тетя Паша, подруги... Шуре жилось хорошо, так хорошо, словно она и не мечтала ни о чем другом, кроме этой школы. А сколько веселья бывало у них, когда они, принарядившись, шли всей ватагой в парк или на танцы!

Но с тех пор, как Шуру назначили старостой группы обмотчиц, все неожиданно полетело вверх тормашками. Видимо, девчонки сговорились между собой и объявили ей форменный бойкот. Почему? Что сделала она недостойного, кого подвела, кому насолила?.. Конечно, она проявляла известную строгость, случалось, даже покрикивала на подруг. Зато был порядок.

Однажды Шура попробовала объясниться с девчатами и после уроков задержала всю группу. Никто не пожелал с ней разговаривать.

Что ж, пусть так. Она гордо сносила незаслуженную обиду...

Как-то весной — было уже тепло — девушки собрались прогуляться по излюбленному маршруту, к Пулковским высотам. Неожиданно для Шуры обступили ее:

— Хочешь с нами?

Очень поразилась она. Ответила сдержанно:

— Хочу.

Долго шли, не говоря ни слова. И вот, их точно прорвало:

— Шурочка, милая, прости нас, — мы ошибались в тебе!

— Прости...

— Давай опять дружить.

— Опять!

Посреди дороги они обнимали и целовали ее. Шура едва не расплакалась. Ей было больно за себя. Глотая слезы, она с трудом вымолвила:

— Кто старое вспомянет... Ладно!

В тот день установился мир — прочный, искренний, на долгие-долгие годы.

Много подружек, товарищей было у Шуры Кузнецовой, много. Но Любушка заняла в Шурином сердце какое-то особенное место. Самый близкий, самый закадычный друг!

По утрам они спешили на завод и непременно должны были постоять у проходной. Вместе возвращались с работы, обсуждая что-нибудь важное, интересное, волновавшее обеих. Вместе читали Тургенева и Маяковского, вместе бывали на комсомольских собраниях, в клубе, в кино... Девчата прозвали их неразлучной парой.

Война застала подруг, когда им только-только минуло по двадцати лет. В то памятное воскресенье работали — шел спешный заказ. И вдруг по радио сообщили: война.

Весь завод всколыхнулся. Люди тревожно переговаривались между собой.

Начальник цеха Бирин разыскал Шуру, зычно крикнул ей издали:

— В штаб! Иди в штаб! — И взмахом руки показал, куда надо идти, как будто она сама не знала.

Шура побежала. Сильно колотилось сердце, выстукивая: «вой-на», «вой-на»...

В штаб стекались бойцы и командиры. Мужчины, женщины, парни, девчата... Вон Зина Карпушина, Валя Беляева, Тося Орлова. А вон и Любушка, мрачная-мрачная.

Пробравшись сквозь толпу, она подошла к Шуре и отчеканила:

— Явилась в ваше распоряжение. Боец медико-санитарной команды Любовь Гусева!

Шура тоже подтянулась:

— Назначаетесь моим помощником.

— Есть! — Любушка по-солдатски пристукнула каблуками.

Выслушав наставления командира, бойцы разошлись по своим цехам. А вечером, после смены, был приказ — устраивать казармы.

Война приближалась к городу, к заводу. Над притихшей заставой кружили вражеские самолеты.

Восьмого сентября посыпались первые бомбы. «Зажигалки». Триста штук.

Бомбы и снаряды, снаряды и бомбы. Фугасные, термитные, осколочные...

Завод жил в огненных тисках.

Жил и боролся. Боролся мужественно, стойко.

Шура, Любушка, все остальные девчата медико-санитарной команды были то воинами, солдатами, то обыкновенными работницами. По сигналу тревоги они шли в огонь, спасая раненых, в часы затишья помогали у станков, разбирали свежие завалы или поочередно дежурили около ослабевших товарищей.

Пал Тихвин. И в городе опять урезали хлебную норму: рабочим — до двухсот пятидесяти граммов, служащим — до ста двадцати пяти. В столовой пустые щи из одной свекольной ботвы. Тарелка — на едока в день.

Вот какой случай потряс однажды всю Шурину команду.

Технолог Задорин знал, что его покидают силы. И все-таки вызвался пойти на вышку, чтобы вести наблюдение, которое не прерывалось ни днем, ни ночью, даже в самые лютые обстрелы и бомбежки. С мучительным трудом вскарабкался он на ступени. А было их много-много. Наконец, последняя. И тут Задорину сделалось совсем плохо. Похолодевшей, непослушной рукой он потянулся к телефонному аппарату, еле слышно прохрипел: «Умираю...» — и упал.

Бойцы медико-санитарной команды уже не застали его в живых.

Любушка сокрушалась:

— Жаль человека, очень жаль. Таким, как он, нельзя погибать.

Шура заметила:

— Борьба...

Да, это была борьба, тяжелая борьба, — такая же трудная, как и там, на передовых позициях. А Любушка рвалась отсюда, завидовала Вале Беляевой. Не удалось подружке, не удалось, здесь сложила голову...

Уже четвертый день не было среди подруг Любушки, а Шуре все мерещились ее торопливые шаги. Вот сейчас... распахнутся сейчас двери, влетит веселая крановщица, улыбнется им, потряхнет локонами...

Нет, никогда не придет Любушка, никогда. Завтра повезут ее на Волково кладбище.

Шура разгладила ленточку на венке.

И двери распахнулись. К ним вбежал начальник штаба Михаил Николаевич Боярский. Он был взволнован, глаза у него возбужденно горели:

— Друзья, какое счастье, какое счастье! Наши прорвали блокаду!

— Бло-ка-ду?

Первой опомнилась Зина Карпушина. Кинувшись к начальнику штаба, она спросила с надеждой:

— И хлеба прибавят?

— Ну, разумеется, разумеется!

Шура прижала к себе Любушкин веночек. Ее душили слезы. Слезы горя и радости.

III

Какое счастье, какое счастье!

Где-то у безвестной деревушки Марьино под Шлиссельбургом наши войска пробили брешь в кольце блокады.

И хотя еще на Вороньей горе по-прежнему гремела вражеская артиллерия, — силы Ленинграда как бы удесятерились. Дайте срок, — от фашистов духу не останется!

В марте сорок третьего года Государственный Комитет Обороны решил: не медля ни дня, ни часу начать восстановление главного корпуса «Электросилы», того корпуса, где строились самые крупные энергетические машины советской марки.

Ближайшая задача: в мае приступить к изготовлению рыбинского генератора мощностью в пятьдесят тысяч киловатт. Пятьдесят тысяч!

Многое требовалось для этого, очень многое.

Раньше всего следовало заделать пробоины в стенах, починить крышу, остеклить рамы, фонари, потом уж вернуть на завод и вновь смонтировать чуть ли не весь станочный парк, пустить краны, подвести ток, воду...

И люди поднялись. Какой-то удивительный, необыкновенный порыв охватил каждого.

Медико-санитарная команда Шуры Кузнецовой спешно овладевала новой — слесарной специальностью. Впрочем, по первому же сигналу тревоги девчата опять превращались в бойцов своего подразделения и, бросив инструмент, хватались за носилки.

Когда-то, в начале войны, Шура и все ее подруги с горьким чувством ставили завод «на колеса», отправляя машины в глубокий тыл. Теперь они с радостью возвращали его к себе домой.

Им отвели намоточный участок. Пять станков.

Для бодрости сказали:

— Вы у нас мастерицы на все руки. Справитесь!

Кранов еще не было. Не было даже простейших подъемных средств, и приходилось пользоваться допотопным орудием — ломом. Загонят лому под станину — и катят, катят к месту всей командой.

Трудно было девчатам, чертовски трудно: силенки не ахти какие, сноровки никакой. А кто поможет? Людей-то на заводе — раз, два и обчелся.

Тянули!

С одним станком обошлось без всяких происшествий. Залили для него фундамент, сделали отверстия, поставили. Тютелька в тютельку угадали. А взялись за другой станок — никак не получается. Мучились, мучились с ним — то подымут, то опустят, то снова подымут, — чуть было насмерть не придавили Паню Мариненку. Досталось девушке — целый месяц пролежала в госпитале.

Вот так возрождали они свой завод. Монтировали станки, обливаясь потом, таскали на себе непомерные тяжести, отскребали с полов почти двухгодовую грязь, копались в грудях заброшенного железа, выискивая болты и гайки... А случись сигнал, и они — уже в боевом строю!

На их глазах оживал громадный, как ангар, корпус. В нем прибавлялось и прибавлялось станков. Весеннее солнце золотило окна, фонари, и от этого повсюду, даже в самых захолустных уголках, делалось светлее, просторней.

Каждый день приносил захватывающие новости.

Дали ток...

Гремя тяжелыми цепями, двинулся мостовой кран...

Пущены в ход фрезерные колонки...

Заработал семисоттонный пресс...

Воды, воды сколько угодно!

А начальник турбокорпуса Константин Владимирович Данилов тревожился, что не успеют к сроку.

Успели, справились!

Собираясь в полете, девчата тужили:

— Вот бы посмотрела Любушка...

Нет, не могли они забыть своей подруги, веселой крановщицы из цеха номер девять.

Незадолго до майских праздников главный корпус «Электросилы» выглядел именинником. На стенах красовались кумачовые полотнища с метровыми буквами: «Помни, Родина ждет рыбинский генератор!» В пролетах царило оживление. Шумели моторы, станки. Неуклюже громыхал подъемный кран, ползая то туда, то обратно.

Не верилось, что каких-нибудь полтора — два месяца назад в этом корпусе гулял ветер, студеный зимний ветер. Не верилось, что так долго могли стоять, замерзая, эти умные, трудолюбивые машины. Не верилось! И сами-то люди сделались иными — проворными, ловкими, жадными до работы, хоть на лицах и сохранились следы блокадного голода, усталости.

Шура задумалась: «Откуда это?» И тут же объяснила себе: «От гордости, от большой гордости за свои дела... Ведь это же чудо: на виду у фашистов воскресить такой корпус!»

Двадцать четвертого апреля в полдень близ заводских ворот оглушительно грохнул тяжелый снаряд. И тотчас заговорили все вражеские пушки, расстреливая непокоренную «Электросилу».

Все сотрясало кругом. В воздух взлетали обломки металла, кирпича, дерева. Звенели о камень стекла. Рушились своды. Горели корпуса.

Штаб распорядился: командам — на места!

Сквозь дым и огонь пожарищ, прячась за выступами стен, вела Шура Кузнецова своих подруг-комсомолок. Как и всегда, они спешили к раненым, чтобы вынести их из обстреливаемой зоны.

Весь главный корпус был в пробоинах, точно мишень. Оконные проемы зияли пугающей чернотой. С угла крыши свисал, позванивая на ветру, кусок мятого железа. У входа громоздился холм, и над ним клубилась коричневатая кирпичная пыль...

Шура стиснула кулаки.

— Смотрите, во что они превратили наш корпус! Зину Карпушину затрясло от ярости:

— У, гады!

А фашисты бесновались, бесновались упрямо, озлобленно, и даже наша артиллерия долго не могла усмирить их.

Лишь после того, как на «Электросилу» упал двухсотпятидесятый снаряд, разом смолкли вражеские пушки, словно захлебнулись.

Остаток дня и ночь напролет люди не переставая чинили главный корпус. Те, кто уцелел от этого беспощадного обстрела.

Рабочие, инженеры, служащие, мастера — все, поголовно все стали бойцами аварийно-восстановительных команд.

Начальник турбокорпуса Данилов был неумолим и такой же неумолимости требовал от других. Направляя общий ход работы, Константин Владимирович вовремя появлялся там, где не

могли обойтись без его Дельных советов. Сам он и станки настраивал, вместе с бригадой тянул электрический кабель, не раз забирался в будку крана, чтобы помочь монтажникам.

Пробегая мимо Шуры и ее дружинниц, Данилов с напускной суровостью покрикивал на них:

— Смотрите у меня, девчата, — не отставать! — И хитровато прищуривал глаз, что значило: «Вижу, вижу, отменно работаете — молодцы!»

Даже на рассвете, когда все валились с ног, Константин Владимирович казался подтянутым, бодрым, хотя это и стоило ему немалых усилий.

Ворочая тяжелой лопатой, Шура невольно вспомнила тот вопрос, который ей задали, принимая в партию:

— А трудного не испугаешься, самого, самого трудного? Не будем за тебя краснеть?

Она отставила лопату, вытащила платок, развернула его на ладони. Там был осколок. Сегодня он угодил ей в карман. А ведь мог попасть в грудь, как Любушке.

— Вот... — Шура протянула девчатам осколок. Все насупились:

— Мда-а...

К утру расчистили почти весь корпус, привели в порядок станки, а главное — дали ток. И хотя через крышу виднелось по-весеннему голубое ленинградское небо, и в проломы стен, в пустые рамы поддувал апрельский ветерок, — люди опять принялись за рыбинский генератор, обряжая его новыми и новыми деталями.

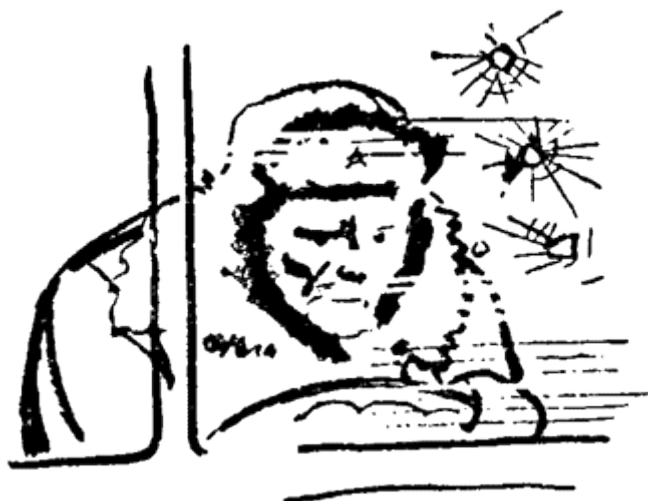
Родина ждет... А разве есть на свете силы, которые способны остановить ее сынов и дочерей?

Трижды враги громили этот корпус, пытались разорить его до основания. И трижды он возрождался из огня, как легендарный феникс.

В память о той многотрудной, грозовой поре живет и поныне действует рыбинский генератор.

Чеканная строка на нем гласит:

"Сделано в блокаде..."



А. Сапаров

Герои Ладоги

Как рождаются легенды

Декабрь 1941 года выдался в Ленинграде на редкость студеным. Фиолетовый столбик термометра быстро сполз к самой нижней черте, как бы намереваясь испытать характер ленинградцев: против всемогущего голода они пока что держатся, а вот сумеют ли устоять перед леденящим дыханием лютых морозов?

Ленинградцы держались, хотя и тяжело им было в те декабрьские блокадные дни, особенно когда холода стали вовсе нестерпимыми. Даже привычные к зимним стужам воробьи и те замерзали на лету, камнем падая на крыши домов. Над невскими полыньями клубился по вечерам густой белый пар, что предвещало новое понижение температуры. Фашистские самолеты, пролетев над городом, сбросили листовки: «Доедайте жмыхи, готовьте гробы».

Однажды утром, попав на Петроградскую сторону, на пустынных улицах которой хозяйничал сердитый балтийский норд-вест, я услышал поразивший меня рассказ про ладожского военного шофера. Собственно, это был даже не рассказ, а нечто напоминающее легенду об удивительном герое, какие существуют лишь в воображении людей.

В тесной комнатухе, бывшей дворницкой, занятой домоуправлением, монотонно и убаюкивающе тикал метроном. Возле остывающей печи, зябко потирая красные руки, стояла высокая женщина в солдатском ватнике. Рядом с ней пристроились дружинницы бытового отряда.

Дружинницы пришли с утреннего обхода своего участка и продолжали разговор, возникший на улице. — Так я же, тетя Нюша, и не думаю отказываться!— всхлипывая, оправдывалась одна из дружинниц, совсем еще молоденькая девушка с торчащими из-под меховой шапки косичками. — Просто не поспеваю везде... В двенадцатой квартире, у Агафоновых, трое лежат. Вчера я им хлеб выкупала, воды принесла с Невы, плитку стопила... В семнадцатой и двадцать девятой тоже все заболели, даже не встают дверь открыть... Трудно мне с ними...

— Выходит, тебе одной трудно? — сердито спросила тетя Нюша, потуже затягивая свой солдатский ремень. — А как же бойцы на передовой? Им разве легче? Да мы с тобой и во сне того не увидим, что они, бедные, должны переносить! И ничего — помалкивают, дело свое делают... А ты сразу в слезы; разве это по-комсомольски получается?

В дворницкой наступила неловкая пауза. Девушка всхлипывала все реже и реже. Тогда тетя Нюша молча обняла ее, потрепала по мокрым от слез щекам:

— Ладно, Сашенька, хватит хныкать... Все образуется, вот увидишь. Ты, главное, фронтовиков наших почаще вспоминай — небось, сразу легче будет. Я ведь на фронте побывала с делегацией, видела, как они живут. Хочешь, расскажу? Это и вам, девушки, полезно знать...

— Расскажите, тетя Нюша! — попросили дружинницы, охотно придвигаясь к своей руководительнице.

— На Ладого был случай, — начала рассказывать тетя Нюша, — на ледовой, стало быть, дороге. Ехал к нам в Ленинград шофер один. Молоденький еще парнишка, комсомолец. С хлебом его послали. «Езжай, — говорят. — дорогой товарищ, и непременно довези хлеб в целости и сохранности. Сам знаешь, не сладко ленинградцам в блокаде».

Вот он и поехал. А на Ладожском озере в тот день разбушевалась страшная пурга-метелица. Дорогу замела сугробами, шумит, беснуется. Увидела шофера с хлебом и давай кричать диким голосом: «Не пропущу! Не пропущу! Не пропущу!» Только зря стращала, не таковский это был парень, чтобы испугаться. Метелица, можно сказать, из последних сил надрывается, а он знай себе мчится вперед, и никаким способом его не остановишь.

Заметили эту картину фашисты со своего берега. Заметили и зубами заскрипели от злобы. «Нет, врешь! — кричат шоферу. — Не бывать тебе в Ленинграде, заставим поворачивать обратно!». И сразу, конечно, открыли стрельбу из орудий. Снарядов не считают, палят без остановки — лишь бы остановить. Но и снаряды не помогли. Мчится наш паренек через огонь и смерть, едва успевает воронки объезжать. Так бы, верно, доехал до цели, да подстерегла его новая беда. Не выдержал мотор в машине, отказал. Парень выскочил, пробует завести его, но ничего не получается. Прихватило мотор холодом, не хочет заводиться, молчит. А метелица добычу почуяла, еще сильнее стала выть над головой: «Ага, непослушный, попался ко мне в лапы! Теперь никуда не денешься! Заморожу, снегом захороню, в ледяшку бесчувственную оберну!»

Что тут станешь делать? Другой, который духом слабоват, скорей всего отступился бы: дескать, сделал все, что мог, а судьбу разве переспоришь... Только геройский этот паренек был не таков, настоящего закала был комсомолец. Переломить его не переломишь, а согнуть и подавно невозможно. Стал он думать, как найти выход из положения, как доставить ленинградцам хлеб. Видит — нет другого выхода, надо на крайность решиться. Смочил он свои руки бензином и зажег их, как факел среди ночи. Потом обнял застывший мотор, словно любимую невесту, и вдохнул в него жизнь...

Дослушать до конца легенду о безымянном ладожском водителе, совершившем великий подвиг, мне не удалось — пришел политорганизатор домохозяйства, и мы отправились с ним в райком партии.

Неделей позже, в том же декабре 1941 года, я уехал на Ладожское озеро, где вскоре услышал уже не легенду, а самую доподлинную историю, которая очень напоминала все то, о чем рассказывала тетя Нюша.

* * *

Филипп Сергеевич Сапожников, с которым приключилась эта история, прослыл за человека медлительного и вялого. До войны он работал шофером на легковой машине, возил начальство в каком-то ленинградском тресте и, чаще всего, безмятежно дремал за баранкой своего блистающего лаком «Бьюика», дожидаясь, пока директор соберется ехать на обед. От легкой жизни или, быть может, от предрасположенности к полноте, Филипп Сергеевич стал к тридцати годам не по возрасту важным и солидным. Сонные его глаза обычно не выражали ничего иного, кроме желания пребывать в покое.

Очутившись в одном из автомобильных батальонов ледовой трассы и приняв плохонький грузовичок-полуторку с изношенным, вечно капризничавшим мотором и разбитым кузовом, Сапожников понял, что от старых привычек придется отказываться. Начинается новая жизнь.

Работа на ледовой трассе, напряженная, нервная, полная всяческих опасностей, ничем не напоминала однообразных трестовских будней. Каждый рейс за хлебом был смертельно

опасным делом, каждый день гибли люди и машины. Скудные блокадные пайки ленинградцев добывались здесь дорогой ценой.

На первых порах с непривычки Филиппу Сергеевичу пришлось плохо. Он выезжал в рейс вместе с товарищами, но возвращался почти всегда один, опаздывая на сутки, а то и на двое.

Сапожникова преследовали бесчисленные дорожные неудачи. То и дело засорялось зажигание, и, пропустив вперед колонну, Филипп Сергеевич подолгу чистил шланг бензоподачи. Со зловещим шипением выпускали воздух старые, штопанные-перештопанные камеры, а заклеивать их на морозе — любой шофер подтвердит это — было сущим наказанием.

Лицо Сапожникова неузнаваемо осунулось. В глазах его теперь, как и у других ладожских водителей, постоянно горела злая искорка измученного трудной жизнью и постоянными неудачами человека.

Однажды, возвратясь из рейса с опозданием, Филипп Сергеевич увидел на базе батальона новый плакат. Толпившиеся возле него шоферы, заметив подошедшего Сапожникова, дружно расступились. На плакате было написано: «Водитель Сапожников! Вчера, 3 января 1942 года, пять тысяч ленинградских женщин и детей остались по твоей вине без хлебных пайков».

Низко опустив голову, Филипп Сергеевич побрел в землянку своей роты. Что мог он сказать в оправдание? Не расписывать же товарищам, как снова отказал мотор его полупорки, как нервничал он, дожидаясь прибытия аварийной «летучки», — у других тоже не новенькие машины. И работают лучше его, не опаздывают на целые сутки.

Вечером, перед уходом колонны в новый рейс, Сапожникова вызвал комиссар батальона Серго Акопян. Характер у комиссара был вспыльчивый, и Филипп Сергеевич заранее приготовился к крупному разговору. Но Акопян, против обыкновения, говорил тихо, не вскакивал из-за стола, не размахивал в гневе руками.

— Послушай, товарищ Сапожников, ты же сам ленинградец, — сказал комиссар, в упор глядя на Филиппа Сергеевича. — Неужели забыл о своем городе?

И так это было сказано, с такой душевной болью, что Филипп Сергеевич отпрянул, словно его ударили по лицу. Сгоряча он начал объяснять комиссару свои дорожные приключения, но вдруг замолчал. К чему тут оправдания? Виноват — и молчи.

Серго Акопян был сердечным человеком, хотя и срывался иногда, не умея вовремя сдержаться. Он понял, что происходило сейчас в душе водителя.

— Возьми себя в руки, товарищ Сапожников, — сказал комиссар. — Хочешь, дам совет: ты рассердись, рассердись по-настоящему. Ведь ты мужчина с характером, я знаю... Рассердись — и все пойдет как надо, не хуже других начнешь работать...

Через полчаса Филипп Сергеевич выехал в рейс. И опять ему не посчастливилось. Возле Тихвина, возвращаясь с ржаной мукой, колонна ладожских машин попала под бомбежку. Полупорку Сапожникова взрывной волной сбросило в глубокую придорожную канаву. Товарищи, убедившись, что шофер не пострадал, умчались вперед, колонна не могла ждать одного, а ему опять пришлось сидеть возле опрокинутой машины, пока не прибыла аварийная «летучка».

Дальше пошло еще хуже.

На озерном участке Сапожникова настигла пурга. Это была обычная для Ладоги пурга, неистовая, дикая, готовая подстроить водителю какую-нибудь пакость. Она лезла во все щели старенького грузовика, завывала и бесновалась вокруг одинокой машины и, что особенно удручало Сапожникова, засыпала снегом ветровое стекло.

Проще простого было остановить машину, захлопнуть поплотнее дверцы кабинки и терпеливо пересидеть непогоду. Вражеские бомбардировщики навряд ли поднимутся со своих аэродромов, пока не стихнет пурга; обстрел со шлиссельбургского берега тоже не особенно страшен, если кругом твоей машины пляшут снежные вихри. Покуривай себе в кабинке, время от времени растирая лицо снегом, чтобы не уснуть.

До разговора с комиссаром Филипп Сергеевич не стал бы долго раздумывать. Стоит ли рисковать без нужды? Ведь он бессилен против разбушевавшейся стихии.

Но сегодня Сапожникову хотелось поскорей добраться до склада. Остается совсем немного — проскочи с десяток километров, и перед тобой откроется знакомый берег.

Страшнее всего в непогоду — сбиться с грузовой нитки. Филипп Сергеевич хорошо это понимал. Часто останавливаясь и протирая рукавом шинели ветровое стекло, он пытался различить хоть какие-нибудь признаки дороги. Кругом виднелись одни сугробы. Ночь опустилась над Ладогой, а в ночи бушевала пурга.

И тут произошло самое неприятное. Жалобно чихнув несколько раз, замолк мотор его грузовика.

Сапожников рывком выскочил из кабинки. Действовать нужно было с молниеносной скоростью — иначе мотор успеет застыть, и тогда завести его будет невозможно. Закоченевшими, негнувшимися пальцами он перебрал карбюратор, продул шланг бензоподачи, но мороз, как видно, действовал еще быстрее.

Оставалось только одно средство: разогреть мотор. Но чем его разогреешь на таком ветру? Отдирать доски от кузова? Нет, не годится, растеряешь груз. Ветоши, которую можно смочить бензином и зажечь, в машине не нашлось.

Тогда Филипп Сергеевич вспомнил о своих варежках. Эти подбитые собачьим мехом суконные варежки прислала ему мать; руки в них совсем не мерзли. «Филя, родненький сыночек, — писала она из Кировской области, куда эвакуировалась еще в августе с детским домом, — обо мне не беспокойся, мы тут хорошо устроены. Исполняй свою службу по-честному, по-сапожниковски, как твой отец в 1918 году». Отца, расстрелянного интервентами в Мурманске, Филипп Сергеевич знал лишь по единственной уцелевшей в семье фотографии. С пожелтевшей карточки, висевшей в комнате матери над кроватью, на него лукаво поглядывал молодой балтийский матрос в форменном бушлате, в пулеметных лентах крест-накрест. «Не робей, друг Филя!» — говорил его веселый взгляд.

Филиппу Сергеевичу было жалко расставаться с подарком, но ничего другого придумать он не мог. Облив варежку бензином, он надел ее на заводную ручку, чиркнул спичкой и начал разогревать мотор.

Это было совсем не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Ветер раздувал пламя, отгоняя его от мертвого и холодного железа к живой человеческой руке. И, как ни поворачивай заводную ручку, огонь все равно лизал пальцы.

Не выдержав, Сапожников бросил ручку на снег. Потом снова взял обожженными пальцами, решив потерпеть. Так повторилось несколько раз. Он бросал ручку, вскрикивая от боли, затем снова брал в руки и подносил к мотору.

В конце концов цель была достигнута. Старенькая полуторка задрожала, сотрясаясь от бешеных оборотов ожившего мотора.

Последние километры были самыми мучительными; Пальцы Сапожникова покрылись волдырями. Малейшее прикосновение к ним вызывало резкую, нестерпимую боль.

Филипп Сергеевич забрался в кабинку. Зажмурил глаза и стиснув зубы, он взялся за баранку. Но удержать ее не смог, точно пластмассовая баранка превратилась в раскаленный докрасна металл.

По-прежнему на озере бушевала пурга. Лохматые языки белого пламени полыхали вдоль всей трассы. Свистел ветер.

Сапожников не чувствовал холода, не слышал воя пурги. Думал он лишь об одном: надо доехать, надо обязательно дотянуть до склада!

Регулировщица, дежурившая возле спуска на озере, первой заметила его машину. Грузовик шаркался из стороны в сторону. Регулировщица не могла понять, что с ним происходит.

Подбежав к машине, чтобы хорошенько отчитать нарушителя порядка, она застыла в изумлении.

В кабинке полуторки, как-то неестественно скорчившись, сидел смертельно бледный водитель с перекошенным от боли лицом. Локтями он упирался в баранку, а растопыренные пальцы держал перед собой.

— Зови кого-нибудь! — прохрипел водитель. — Мне не поднять машину в гору...

Через несколько минут к машине прибежала запыхавшаяся медсестра. Она взглянула на пальцы водителя, приказала пострадавшему немедленно идти в госпиталь. Филипп Сергеевич покачал головой:

— Обожди, сестричка, не торопись.

Ему хотелось самому сдать на склад доставленный хлеб, убедиться, что все в порядке.

Так он и поступил, упрямая душа. Доехал до склада, сидя рядом с подоспевшим товарищем, хозяйственно пересчитал мешки с мукой, посмотрел, как их укладывают на железнодорожную платформу.

Кто знает, как рождаются легенды?

Быть может, этот случай послужил основой для рассказа тети Ньюши, который я услышал на Петроградской стороне, а может быть, и другой — утверждать наверное не берусь.

Подарок

Случилось это в ночь под 1942 год.

Приехав на склад восточного берега и встав в очередь на погрузку, Максим Твердохлеб рассчитывал, что на его «Газик», как всегда, положат тридцать мешков муки.

Ржаная мука в ту пору ценилась дороже золота. Возле складских ворот на щите висело объявление, размашисто написанное синими чернилами: «Товарищ водитель! Если ты перевезешь сто килограммов муки сверх плана, то обеспечишь хлебными пайками тысячу ленинградцев».

Вместо мешков на полуторку Твердохлеба принялись укладывать небольшие фанерные ящики. Тяжелые боеприпасы для гвардейских «катюш», мясные консервы и сгущенное молоко перевозили обычно в другой упаковке — поплотнее, помассивнее. Эти же ящики, судя по всему, были легковесны. Кроме того, от них исходил непривычно тонкий и свежий запах.

Твердохлеб работал без сменщика уже третьи сутки и собирался чуточку вздремнуть. Напрасно думают иные, что десятиминутный сон ничего не дает. Для усталого, в конец измотанного человека даже этот коротенький отдых — великое дело. Пусть грузчики заполняют кузов машины, пусть кладовщик выписывает накладную. В тот самый момент, когда все будет готово, шофер поднимет отяжелевшую голову, с ожесточением протрет слипающиеся глаза — и вновь в дорогу.

Но то ли мешал этот щекочущий ноздри запах, то ли по другой причине, а задремать Твердохлебу не пришлось.

Выйдя из машины, он решил поинтересоваться доставшимся ему грузом. Надо знать, что везешь, нельзя работать втемную. И вдруг прочел совсем уж загадочные слова. На каждом из ящиков виднелась отчетливая надпись: «Детям героического Ленинграда».

Твердохлеб был удивлен. Что же в них такое? Неужто мандарины? По запаху вроде похоже. Но откуда они могли взяться здесь, эти чудесные плоды благодатных субтропиков?

Кузов полуторки быстро заполнился. К грузовой эстакаде подошел помощник начальника склада. Это был хмурый, неразговорчивый, вечно чем-то озабоченный майор; шоферы между собой называли его Скрипуном.

— Ценный груз доверяется вам, товарищ старшина, — произнес Скрипун и улыбнулся, что случалось с ним не часто. — Так сказать, особой важности. Сегодня только получили из Тбилиси. Подарочек ребятишкам к Новому году, отвезете в Ленинград прямым рейсом...

— Слушаюсь, товарищ майор! — козырнул Твердохлеб. — Будьте спокойны, доставлю в сохранности!

— На девятом километре поглядывайте. Там трещина на льду, не угодите в аварию...

— Есть поглядывать!

— И вообще поезжайте аккуратненько, без обгонов и лихачества.

— Есть без лихачества!

Уже смеркалось, когда Твердохлеб выбрался на ледовый участок. Вечерние часы считались здесь наиболее спокойными. Фашистские бомбардировщики чаще всего прилетали днем либо позднее, часам к одиннадцати, чтобы развесить над дорогой долго не гаснущие осветительные бомбы и охотиться за ночными колоннами.

На озере было тихо и безветренно. Лишь мороз стал к вечеру еще сильнее, но холодов шоферы «дороги жизни» не боялись, справедливо считая их верными союзниками: чем крепче мороз, тем лучше, тем надежнее становится трасса.

Все складывалось удачно. Твердохлеб рассчитывал проскочить ледовый участок на большой скорости, за полчаса или, в крайнем случае, за сорок минут. Тогда мандарины из Грузии поспеют в Ленинград к сроку — как раз перед Новым годом.

Главное — не попасть под обстрел или бомбежку, не наскочить на случайную полыню. Тогда, пожалуй, он сумеет и сам вернуться в ротную землянку до полуночи. Правда, нет в ней праздничного стола, не сверкает огнями красавица елка, но это неважно. Всегда приятно посидеть с товарищами возле жарко полыхающей печки, а в новогоднюю ночь и подавно. Начнется бесконечная солдатская беседа о том, о сем, станут друзья показывать фотографии своих жен и невест, примутся вспоминать, как жилось до войны — разговора хватит надолго.

Увы, всем этим расчетам Твердохлеба не суждено было оправдаться! Не успел он доехать и до середины озера, как услышал противное металлическое завывание «Юнкерсов».

Высунувшись из кабины, он увидел самолеты врага. Так и есть — бомбардировщики с черными крестами на крыльях! Идут в излюбленном строю, девяткой, возвращаясь с очередного налета на Ленинград.

Твердохлеб прибавил газу; он еще надеялся остаться незамеченным. Подумаешь, цель — одиночная машина! Возможно, фашисты не захотят с ним связываться. Но, когда от девятки отделились два крайних бомбардировщика и повернули в боевой разворот для пикирования, все стало ясно.

Его заметили, его решили уничтожить.

Начиналась охота, жестокая и беспощадная охота на беззащитного человека. Ладожские шоферы называли ее игрой в кошки-мышки.

Почти все в этой игре зависело от умения и выдержки шофера. Сохранишь хладнокровие, сумеешь, маневрируя скоростями, увернуться — будешь жив. Ну, а если сдадут нервы, — значит, пиши пропало.

Выждав момент, когда самолеты свалились в отвесное пикирование, Твердохлеб резко затормозил свою полуторку. Он ждал разрывов бомб, но вместо этого услышал гулкие пулеметные очереди. Пули прострочили лед впереди его машины — частый дождь мелких ледяных осколков застучал по кабинке и ветровому стеклу.

Для начала вышло неплохо. Оба самолета промазали, обманутые хитростью водителя. Однако бомбардировщики не собирались прекращать охоты. Выйдя из пике, они заходили в новый круг.

Стиснув зубы, зло поигрывая желваками на давно небритых щеках, Твердохлеб не спускал глаз с фашистов. Вот они снова пикируют, включив сирены. И снова, разогнав машину, водитель жмет на тормоза.

Во второй раз головной бомбардировщик тоже промахнулся, выпустив очередь раньше срока. Зато другому удалось зацепить краем длинной очереди кузов машины, где лежали ящики с мандаринами.

Положение складывалось грозное. Проще всего было выскочить на лед и, отбежав в сторону, спрятаться за каким-нибудь снежным сугробом. Пусть уничтожают машину — жизнь дороже. Не раз поступали на Ладоге таким образом, когда не оставалось другого выхода.

Так поступил бы и Твердохлеб, если бы не ярость, овладевшая им в эти минуты. То была ярость доброго и справедливого человека, которому мешают выполнить его долг. Вот уж два месяца трудится он, словно одержимый, спит урывками, съедает свою порцию солдатской каши не вылезая из пропахшей бензином кабинки, забыл про баню, про чистое белье. Никто его не принуждает работать за троих, надрываясь из последних сил, — просто он не может иначе: ему надо спасти от голодной смерти тысячи ни в чем не повинных людей. И вот его расстреливают ради забавы, спокойно и методично пикируют на его машину, благо ему нечем ответить. И он, Максим Емельянович Твердохлеб, простой советский труженик, привыкший уважать свое достоинство, должен уступить этим негодям без борьбы? Испугаться за свою шкуру, бросив доверенный ему груз? Нет, не бывать этому! Не бывать, пока бьется его сердце, пока руки способны держать баранку машины!

Фашисты заходили в новый круг. Они были уверены в успехе. Никто не успеет прийти на помощь обреченному русскому шоферу, как бы ни хитрил он, как бы ни увертывался от смертельного удара. Обреченный погибнуть — погибнет.

Затрещали пулеметные очереди.

Полуторка резко рванула вправо, не слушаясь руля. Твердохлеб понял, что пробит передний скат. Но мотор еще работал. Значит, надо продолжать борьбу. В конце концов на всяком самолете рано или поздно кончается боезапас. Должны выдохнуться и эти молодчики.

Следующая очередь снова пришлась по ящикам с мандаринами. Несколько пуль пробили ветровое стекло, оставив на нем густую сетку морщинок. Твердохлеб был невредим, точно благословение ленинградских матерей оберегало его от гибели.

Трудно стало управлять машиной. Из пробитого радиатора вытекала вода. Пластмассовую баранку разнесло в клочья, острые осколки впились в лицо и руки водителя.

Выиграть время — вот в чем заключалось спасение. Еще заход, ну, в крайнем случае, еще два захода, и фашисты оставят его в покое. Вот-вот могут появиться в небе и наши истребители, патрулирующие ледовую трассу. Тогда, в этом нет сомнения, вражеские летчики кинутся наутек, не приняв боя.

Но как продержаться эти последние минуты?

Машина не хочет слушаться шофера. Истерзанная, продырявленная, с перебитыми скатами и обледеневшим радиатором, она шарахается из стороны в сторону. Просто удивительно, что не заглох мотор.

Твердохлеб забыл обо всем на свете. Кровь струилась по лицу. Он вытирал ее рукавом шинели, не выпуская обломков баранки, и вел машину вперед.

— Врете, разбойники, не бывать по-вашему! — шептал он воспаленными пересохшими губами. — Не выйдет! Не выйдет!

Затянувшееся сопротивление принудило фашистов изменить тактику. Теперь они пикировали на полуторку Твердохлеба с двух сторон, рассчитывая таким способом одолеть, наконец, упряма.

И верно: следить за обоими самолетами невозможно. Один заходил спереди, другой сзади.

До берега было совсем близко. Уже виднелись вдали темные силуэты сосен на осиновецком мысу. За ними, в ложбинке, примыкающей к железнодорожной станции, находился склад. Только бы дотянуть до него, только бы выдержать до конца!

Последняя атака оказалась самой страшной. Разъяренные неудачей фашисты пикировали чуть ли не до ледяной поверхности озера. Казалось, они готовы таранить неуязвимого смельчака, сумевшего противоборствовать им в этом неравном поединке.

И все же победил Максим Твердохлеб!

Израсходовав весь боезапас, бомбардировщики улетели.

Сорок девять пробоин насчитали складские работники на полуторке Твердохлеба, пока медицинская сестра делала ему перевязку.

А на следующий день в Ленинграде раздавали детям подарки, присланные из Грузии. Иные мандарины были пробиты вражескими пулями — это никого не огорчило. И не с празднично украшенных елок снимали душистые плоды, как бы излучающие тепло в холодных домах блокированного города, — на это тоже никто не обратил внимания.

Дети радовались, а это было важнее всего.

Товарищ Шибка

Нет, поглядев на Кошкомбая Оспанова, никто не называл его могучим богатырем!

Худенький, низкорослый, с тонким лицом и печальным выражением, как бы навсегда застывшим в его глазах, Кошкомбай производил впечатление слабого здоровьем юноши. Стоило ему прийти в санчасть, и любой доктор, нисколько не задумываясь, отправил бы Кошкомбая на госпитальную койку. И еще поругал бы за то, что долго не обращался за медицинской помощью.

Но в том-то и дело, что ни врачи, ни даже товарищи по батальону, жившие с ним в одной землянке, ни разу не слышали от него жалоб. Выходили из строя куда более сильные люди, сваливались точно убитые, едва добравшись до своего места на нарах, и засыпали непробудным сном, а маленький Кошкомбай все работал и работал, как будто ему неведома была усталость. Даже в складских очередях не хотел он, как другие, обхватив руками баранку и зябко втянув голову в плечи, чуточку вздремнуть, хотя право шофера на этот коротенький отдых считалось неоспоримым.

— Шибка давай! Шибка работай, шибка! — торопил он грузчиков и, не выдержав, сам принимался носить тяжелые мешки с мукой.

Его так и прозвали на складах — товарищ Шибка — и машину Кошкомбая старались пропустить в первую очередь.

Командир батальона Василии Антонович Порчунов заметил этого водителя еще в первом рейсе через Ладогу, с которого началось автомобильное движение по «дороге жизни». Порчунову было приказано тогда возглавить пробную колонну. Ехали ночью, со снятыми дверцами кабинок, не смея включить фары, настороженные, готовые к самому худшему. Молодой неокрепший лед потрескивал под колесами машин.

На семнадцатом километре колонну Порчунова подкараулила беда. Комбат, сидевший в головной полуторке, вдруг услышал позади себя шум. Мгновенно выпрыгнув из кабинки, он успел заметить, как один из грузовиков, задрвав сверху передние колеса, проваливается под лед.

Порчунов побежал к месту катастрофы. Машина погибла; вытаскивать ее будут водолазы; но, может быть, еще удастся спасти водителя?

На краю полыньи лежал шофер. Это был Кошкомбай Оспанов; по лицу его текли слезы.

— Ты чего плачешь? — Спросил командир батальона, когда колонна двинулась дальше, и недовольно поглядел на сидевшего рядом с ним Кошкомбая: — Перепугался?

— Машина жалка, товарищ майор! — ответил Кошкомбай. — Очень хороший был машина, зря пропал, без польза...

— Да ты же сам мог погибнуть, чужак человек!

— Сам живой остался — машина пропал... Хороший был машина, жалка очень...

Позднее, добравшись благополучно до восточного берега и начав погрузку, Порчунов совсем забыл про водителя утонувшей полуторки. И, признаться, не сразу разобрал, о чем толкует этот маленький боец, когда Кошкомбай остановил его возле высокого складского штабеля.

— Давай санка берем, товарищ майор, — настойчиво повторял Кошкомбай. — Санка, понимаешь? Добавочный хлеб будет... Добавочный хлеб повезем — лишний народ сытый сделаем...

— Ничего не пойму, — пожал плечами Порчунов. — Что за санка?

— Деревянный санка, по-русскому дровня называется... На прицеп давай берем, хорошо будет...

Сообразив, наконец, о чем идет речь, Порчунов был удивлен сметливостью Кошкомбая. И как это он, старый автомобилист, сам не смог додуматься до такой простой вещи? Ведь санные прицепы позволят взять хотя бы по три лишних мешка муки на машину. Шестьдесят машин — сто восемьдесят мешков, прямой расчет. Молодец Кошкомбай!

Прошло больше месяца с того злополучного дня, когда полуторка Кошкомбая затонула в полынье. В опытных рейсах больше не было нужды — «дорога жизни» стала круглосуточно действующей фронтальной магистралью.

Кошкомбаю выдали новую машину. Работал он на ней превосходно и прочно закрепил за собой почетное звание лучшего водителя батальона. Товарища Шибку знала вся Ладога.

Однажды Кошкомбая назначили в сквозной рейс на Ленинград. Пятнадцать ладожских грузовиков, не останавливаясь, проехали через весь город и, сдав груз в Колпине, возвратились на один из заводов Выборгской стороны.

Пока крановщики устанавливали на машины ящики с оборудованием, которое требовалось переправить на Большую землю, Кошкомбай решил заглянуть в цех, где ремонтировали танки.

Сперва этот огромный двухпролетный цех показался ему вымершим. Сквозь застекленную когда-то крышу падал снег. На кирпичных стенах, на проводах электрического освещения, даже на станках висели причудливые ледяные сосульки.

Приглядевшись, Кошкомбай понял, что цех живет. В главном пролете стояли серые громадины забрызганных дорожной грязью танков, а возле них не торопясь копошились рабочие. Движения их были вялыми, замедленными, но все же они работали, восстанавливая поврежденные боевые машины.

На башне крайнего танка Кошкомбай заметил пожилого рабочего. Сидя на броне, он был зачем-то привязан веревкой к стволу танковой пушки. Рабочий осторожно карабкался, силясь дотянуться до смотровой щели. Веревка стесняла его движения.

— Давай помогать буду, — предложил Кошкомбай и вынул из кармана складной нож, намереваясь перерезать веревку.

Рабочий медленно покачал головой. На его исхудавшем лице мелькнула улыбка.

— Спасибо, милый друг. Без веревки мне нельзя. Силенок маловато, упаду...

— Ты сам себя привязал?

— А кто же меня станет привязывать? Понятно, сам.

Кошкомбай был потрясен. Он многое слышал об упорстве ленинградцев, об их выдержке и стойком характере. Ему вдруг захотелось сказать этому человеку о том, как они трудятся на Ладожском озере, как стремятся облегчить бедственное положение осажденного города. Но разве об этом надо рассказывать?

Круто повернувшись, Кошкомбай побежал к своей полуторке и скоро вернулся с маленькой краюшкой хлеба, сбереженной от скудного красноармейского пайка.

— А сам как же? — спросил рабочий, протягивая руку за краюшкой.

— Бери, ата, пожалуйста, бери! — Кошкомбай даже не заметил, что называет его по-казахски отцом. — Тебе надо, ата, ты настоящий герой...

После поездки в Ленинград Кошкомбая будто подменили. Он и до того был трудолюбив, а тут и вовсе стал одержимым. Не спит, отказывается от отдыха, все в рейсах и рейсах — сутки напролет.

Еще заметили его друзья, что перестал он съедать свой паек. Половину хлеба, а то и котелок с кашей норовил прихватить с собой в рейс.

Сперва никто не понимал, для чего он это делает. Некоторые шоферы начали посмеиваться: «Не иначе, как товарищ Шибка запасает себе «энзе» на всякий случай».

Секреты в общежитии недолговечны. Скоро тайну Кошкомбая узнал весь батальон.

По соседству со складами западного берега, в рыбацком селе Борисова Грива, помещался эвакупункт, где ждали обычно переправы через озеро покидающие город женщины и дети. В Борисову Гриву и заворачивал Кошкомбай перед каждым рейсом. Приедет, поманит пальцем первого попавшегося на глаза мальчонку и, торопливо сунув ему свой хлеб, умчится на трассу.

Добровольное недоедание, конечно, не могло пройти для него даром. Маленькое скуластое лицо Кошкомбая сделалось еще меньше, щеки запали, нос заострился. Только узкие черные глаза, как всегда печальные, пронизательные, жили на этом лице.

Человек выдыхался. Это было заметно всем, кто работал рядом с ним, хотя никому так и не привелось услышать от Кошкомбая ни одной жалобы.

Как-то раз, когда шоферы заправляли горючим свои грузовики перед очередной поездкой в Тихвин, Кошкомбай увидел, что к его полуторке направляется майор Порчунов.

— Вам, товарищ Оспанов, надо остаться дома,— сказал командир батальона, внимательно посмотрев на Кошкомбая. — Вместо вас сегодня поедет другой...

— Зачем остаться? — всполошился Кошкомбай.— Не нада остаться! Ехать нада!

— Ничего, Кошкомбай, отдохни немного, отоспись, это полезно для здоровья, — настоял на своем Порчунов.— А завтра возьмешься за работу с новыми силами, еще лучше дело пойдет...

Кошкомбаю не понравились слова командира батальона, но дисциплина есть дисциплина. Повернувшись по-уставному, он молча направился в землянку своей роты. Приказано отдыхать — значит, он будет отдыхать. Солдат обязан выполнять приказы начальства.

В землянке было тихо и дремотно. Дневальный читал газету, удобно пристроившись возле раскаленной печки. Домовито пахло жильем.

Кошкомбай лег на нары, укрылся с головой шинелью и закрыл глаза. Он будет спать, и никто не упрекнет его за то, что он улегся среди бела дня, — сам майор приказал ему отсыпаться до завтрашнего утра. Разве можно ездить без отдыха? От такой работы, майор правильно говорит, очень мало пользы, она разрушает здоровье. А вот завтра, набравшись свежих сил, он сделает гораздо больше. Можешь спать, Кошкомбай, ты заслужил отдых...

А сон не приходил.

Кошкомбай ворочался на нарах, уговаривая себя забыть обо всем на свете, но ничего не мог с собой поделаться. То он начинал думать о своих товарищах, едущих сейчас по ледяной трассе на Кобону. Озябли бедняги, борются, как обычно, с неодолимой сонливостью, охватывающей шофера на гладкой дороге. То вдруг вспоминал огромный цех на Выборгской стороне, серые громадины танков, стоящих в широком пролете, и того пожилого рабочего, что привязал себя к пушке, боясь свалиться от голодной слабости. Вот кому нужен отдых, а вовсе не ему, молодому и сильному...

Кончилось все это тем, что Кошкомбай поднялся с нар и вышел из землянки. Под навесом не было легковой машины командира батальона. Кошкомбай подошел к часовому и, стараясь казаться равнодушным, спросил, где теперь может быть майор. Замерзший часовой ответил, что комбата срочно вызвали на трассу и возвратится он только ночью.

Кошкомбай не сел в кабинку своей машины и не умчался в рейс. Это было бы грубым нарушением дисциплины, непростительным для лучшего водителя батальона. Но отдыхать можно по-разному. Почему он, не контуженный и не больной, должен непременно валяться на нарах? Тем более, что его полуторка когда еще была в ремонтной мастерской, и за что в ней ни возьмись, — все нужно подтягивать и перебирать.

Разостлав на снегу старую мешковину, Кошкомбай полез под свой грузовик.

Майор Порчунов вернулся с трассы гораздо раньше, чем обещал, и, конечно, сразу увидел хлопотавшего возле машины Кошкомбая.

Проходя мимо, командир батальона отвернулся, сделав вид, что ничего не замечает.



В. Карп

Петька

I

Подлинное его имя — Коля. Николай Хайминов. Но после одного из декабрьских дней сорок первого года все в батальоне стали называть его Петькой.

Вот с чего началось...

Дивизия получила пополнение. Это были худощавые желтолицые ленинградские юноши. Шинели, на них топорщились и у плеч казались надутыми воздухом.

Кто не знает, как трудно приходилось в ту первую блокадную зиму бойцам осажденного Ленинграда, как жестоки были схватки у противотанковых рвов за Колпином и как скуден паек ленинградского фронтовика! Бывалые солдаты терпеливо несли свои воинские труды — рыли окопы, ставили мины, ползли в засады, новенькие же бойцы не сразу, как водится, привыкали к тяготам фронтовой жизни.

Батальон стоял в Усть-Славянке, за несколько километров от переднего края; здесь молодые солдаты учились переползать, метать гранаты, вести стрельбу на ходу.

Декабрьским утром вместе с командиром дивизии Донсковым и комиссаром Чухновым довелось мне приехать в Усть-Славянку.

После вечерних занятий батальон собрался в полуразрушенном доме. Серебристые пятна инея покрывали стены. Ветер задувал в щели колкую снежную пыльцу, и она ложилась на лица бойцов.

Солдаты уселись на пол, по-восточному подобрыв под себя ноги; некоторые из бойцов стали дремать, обессиленные голодом и учениями на студеном ветру.

Сняв свою бекешу защитного сукна, отороченную светлым каракулем, и шапку-кубанку с синим, перечеркнутым крест-накрест донцем, комдив подошел ближе к бойцам. Когда он заговорил, все заметили, что десны у него лиловые — Донсков тоже болел цингой.

— Не всеми из вас я доволен, — сухо начал комдив. — Переползая, не прижимаются некоторые к земле, при перебежках огня не ведут. А в строю песен не слышно. Что же это за строй без песни?

— Не очень-то запоешь, не жравши, — буркнул сидевший неподалеку от Донскова солдат с хмурым лицом. Как видно, слова эти произнес он помимо воли и явно сконфузился, ожидая от комдива отповеди, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал свою речь:

— Откровенно скажу вам: новые части с Большой земли к нам пока не придут. Так что, истощенные и полуголодные, должны мы держать оборону, тревожить и изматывать противника. Знаю, иные из вас подумывают сейчас: эх, полковник, соловья баснями не кормят! Дал бы ты лучше приказ, чтоб суп варили погуще, а то ведь и сил нет окапываться. Что ж, верно, очень верно. Но мы-то вместе с ленинградцами живем в кольце. Сварить суп погуще для нашей дивизии — значит урвать у города. А кто из вас на это согласен?

Наступило молчание. Его нарушил молоденький, но, как видно, уже побывавший в бою солдат со шрамом на подбородке. Он сказал в раздумье:

Там, в Ленинграде, наши родители и маленькие братишки, сестренки. Как же мы можем быть согласны?

Нотка обиды чувствовалась в этих словах.

— Один совет хочу вам дать, — продолжал между тем Донсков своим мягким, с хрипотцой, голосом.— На войне никогда носа не вешай. Как ни трудно, а ты выпрямись, подтянись. Вы помните картину «Чапаев»... И тогда были тяжелые времена. А как пели бойцы-чапаевцы, как плясали! А какие герои там в боях рождались! Помните ординарца Чапаева Петьку? Он жизни своей не жалел, спасая командира. А могли бы вы поступить, как Петька?

Вряд ли Донсков ждал, что кто-нибудь станет ему отвечать. Каково же было удивление комдива, когда поднялся тот же боец со шрамом на подбородке и сказал спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся:

— А Петька у нас есть!

— Как ты сказал? — порывисто встал с места дивизионный комиссар Чухнов. — Вот это ответ. Здорово, а?

И, не стесняясь солдат, Чухнов толкнул комдива в бок.

— Слыхал? Есть Петька!

— Кто же он? — спросил Донсков.

— Звать его Хайминовым Николаем. Мы с ним сюда из госпиталя прибыли. А прежде воевали в другой дивизии... Во время боя осколки так и летели, но Коля заслониł собою комбата. И хотя сам он был ранен, продолжал воевать. А сейчас он на посту стоит.

Комдив приказал вызвать Хайминова. В дом вошел невысокий боец в полушубке и меховой ушанке, под которой светлела полоска бинта. Бережно, как ребенка, придерживал он рукой автомат на груди.

Позванивали доски мерзлого пола — Хайминов печатал шаг. Взор его, напряженный и серьезный, был устремлен на командира дивизии.

Донсков шагнул навстречу Хайминову и, положив ладони вытянутых рук на плечи бойца, стал разглядывать его с нескрываемой любовью.

— Так вот он какой Петька!

И все бойцы пристально смотрели на Колю, будто увидели его впервые.

Короткое прощанье. Донсков распахнул дверь, за которой бушевала метель, причудливо освещаемая бледно-зеленым светом падающей ракеты. Не зажигая фар, мы направились в сторону Колпина, туда, где другие батальоны держали оборону, где одна за другой медленно, лениво поднимались и падали ракеты, где слышались во фронтовой ночи то негромкий, будто из игрушечного ружья, хлопок винтовочного выстрела, то треск короткой автоматной очереди, то урчанье летящего снаряда.

Назавтра Петька стал связным комбата Слесаренко. Батальон перевели в Колпино и поместили в разбитых, напоминавших катакомбы, комнатах каменного здания.

II

Петька ждет комбата. На печурке, сделанной из металлического бочонка, греется обед Слесаренко. В алюминиевом котелке со вмятиной от осколка — щи, в крышке котелка — ячневая каша. Щи известны в батальоне под названием «березовых», хотя сварены они из капустных отходов, найденных в заброшенном овощехранилище...

Наступают сумерки. В этот час, будто по расписанию, противник начинает обстрел. Петька прислушивается к нудному свисту снарядов. Перелет. Опять перелет. Когда снаряд приближается к земле, он так хрипит, что кажется, будто лопается от злости.

Печь загасла, стало темно, а все же свечу Петька не зажигает. Есть у него в запасе пять плоских свечей в картонных чашечках. Совсем маленькие они — чуть побольше шашечных пешек. Эти свечи надо беречь для комбата. Когда он придет, одну можно будет зажечь...

В полку все зовут комбата «бородой». При любой обстановке, пусть хоть и обстрел идет, он с утра бреется, но усы и бороду оставляет и потом часто расчесывает их прозрачным гребешком. Как-то он сказал: «Запустил бы и ты, Петька, усы» — и засмеялся.

Почему не идет комбат? Быть может, он получает боевую задачу. Скорее бы... Вчера прибежал Романцов, связной комбата-3. Их третий батальон занимает оборону, отбил пять контратак, а кроме того, бойцы снайперят. Романцов, как только вошел, сказал с подковыркой: «А вы-то, Петька, все без дела». Пришлось ответить ему: «Ничего что без дела, зато мы скоро пойдем в наступление». А Романцов не сдавался: «Врешь, это ты придумал, комбат не говорил тебе этого...» И действительно, «борода» не говорил о наступлении. Но все же однажды он заметил будто невзначай: «Нам не дают участка обороны потому, что нас берегут». А для чего берегут? Ясно, для наступления.

Снова разрывы... Сколько же снарядов упало тут за войну? Недавно пробило заводскую трубу. Снаряд высверлил в кирпиче дыру, и труба светится насквозь.

Некоторые гражданские еще живут в Колпине и не хотят уезжать — даже старухи. Они какие-то совсем бесстрашные. Стоят у булочной в очереди и, когда начинается обстрел, убегают под ворота. Переждут и снова на место.

С одной разговорился вчера Петька, спросил ее, почему она не уезжает, ведь могут убить. Лет ей побольше пятидесяти, высокая, худая, в солдатском ватнике и козьем пуховом платке. «А ты не беспокойся, комсомолец, — ответила она, — мы тоже обстрелянные». Стала расспрашивать, где родился и вырос, и, когда услышала, что в Сталинабаде, воскликнула: «Вот ты из какого далека Ленинград- защищать пришел!» Про мать расспросила, про сестру Райку. «А мой сын в артиллерии», — поделилась она. Потом сказала, что если нужно простирнуть что или заштопать, пожалуйста, всегда можно к ней зайти — за кинотеатром второй дом...

Так запомнилась эта женщина, что маме и Райке о ней написал.

Райка, Райка! Письма свои она шуточками пересыпает, а с карточек, которые шлет, всегда улыбается. Конечно, во всем этом — военная хитрость. Не так-то уж легко им приходится, но о трудном ни слова, ясно — не желает огорчать брата.

Совсем барышней стала Райка. Федя Магонов посмотрел карточки и сказал, что она очень красивая.

Одну фотографию выпросил и вчера послал Райке письмо.

А комбата все нет и нет...

В ожидании его Петька задремал.

III

— В двадцать ноль-ноль ротных ко мне, — сказал комбат, входя, и сам зажег свечу.

— Что же ты сегодня не спрашиваешь, когда наступление? — спросил комбат.

Но Петька уже догадался, что батальон пойдет в бой. Походка комбата, торопливые движения, какими он зажигал свечу, озабоченный взгляд, а главное — необычный, немного торжественный тон, каким приказал «борода» вызвать ротных, — все это подсказало Петьке, что боевая задача получена. Он почувствовал это в то же мгновение, когда вошел комбат, но старался не выказать своего возбуждения. Петьке казалось, что бывалый солдат должен быть сдержан в своих чувствах.

И все же, когда Слесаренко подтвердил догадку, Петька не смог скрыть волнения.

— Когда же, товарищ капитан? — спросил он. — А будет артиллерийский удар?

— Ты как из пулемета вопросами застрочил. И даже забыл, что время вызывать командиров рот.

— Разрешите идти.

Прижимаясь к стене, Петька сбежал по темной лестнице со сломанными перилами, ворвался в большой, тускло освещенный зал, опоясанный нарами, и, притопывая на ходу, устремился в угол, где за подвешенными на шпагате плащ-палатками помещался командир первой роты.

Эх, не любить нельзя Кочегара молодого, Парня хорошего такого... напевал Петька, проходя мимо нар и прищелкивая пальцами. Некоторые бойцы, уже расположившиеся на отдых, подымались со своих мест.

— Какие вести, Петька? Больно ты веселый...

— Да он всегда неунывающий.

— Как тот кочегар из песни!

Быстро обежав ротных командиров, Петька возвратился в штаб батальона. Воображение рисовало перед ним картины будущего боя. Петька хорошо знал, что многие бойцы батальона не обстреляны и истощены от недоедания, что и сам он едва ли сможет безостановочно пробежать в атаке двадцать или тридцать метров, но он чувствовал, что в бою появятся новые силы.

IV

Наступление намечалось у противотанкового рва. Это был бой местного значения. Чтобы улучшить позиции наших подразделений, надо было захватить часть рва, протянувшегося на километры.

Бойцы получили белые маскировочные халаты и дополнительный запас патронов. Исходный рубеж для атаки батальон занимал ночью.

Комбат приказал Петьке добраться до проволочных заграждений, где лежали саперы, и передать им приказ: немедленно резать проходы. В густой тьме, едва смягчаемой отсветами снега и редкими вспышками ракет, полз Петька к знакомой лошине, за которой начиналась «ничейная земля». Шепотом поздоровался он с саперами, передал им приказ. Сразу же раздалось щелканье кусачек, и Петьке показалось, что на той стороне слышат это щелканье. Но по-прежнему властвовала вокруг полудремота фронтовой ночи, лишь изредка потрескивали немецкие автоматы и раздавались короткие пулеметные очереди. Когда Петька возвращался в обратный путь, навстречу ему двигались роты. Связой с трудом разыскал комбата и пополз рядом с ним. Ощувив рядом локоть Слесаренко, Петька почувствовал, что на душе у него стало спокойнее.

Во мгле проступили очертания противотанкового рва, и роты, повинувшись условному сигналу ракет, поднялись с земли и побежали вперед, стреляя на ходу, кидая гранаты.

Над снежной поляной повисли гирлянды немецких ракет. Точно разбуженные их слепящим светом, ожили таившиеся вокруг вражеские минометы, артиллерийские орудия, пулеметы и начали повизгивать, лаять, хрипеть.

Петька в эти минуты находился в цепи первой роты, куда был послан комбатом. Люди задыхались от бега. Накануне они получили по двойной порции сухарей и банке свиной тушенки, но

это не утолило голода и не восполнило сил, потерянных за месяцы недоедания. И все-таки бойцы бежали вперед, движимые и долгом, и родившейся в бою отвагой, и жадой спасения от смерти, витавшей вокруг. А единственная возможность спасения была сейчас в том, чтобы миновать полосу огня и ворваться во вражеские траншеи.

Уже находясь в траншее, Петька услышал:

— «Бороду» убило!

— Врешь, неправда! — закричал Петька, вспрыгивая на бровку.

А через несколько минут, растолкав людей, находившихся возле комбата, Петька припал к телу Слесаренко.

— Товарищ комбат, товарищ комбат, очнитесь,— повторял Петька, и в голосе его слышались одновременно нотки требовательности и мольбы.

Слесаренко лежал недвижимый.

Петька положил его голову на свои колени и, наливая из фляги спирт на маленькую мерзлую шершавую ладонь, стал растирать лицо комбата.

Тяжелая мина с характерным присвистом шлепнулась рядом и вздыбила снежный фонтан. В то же мгновение Петька навалился телом на комбата, прикрывая его от осколков.

Когда Слесаренко очнулся после контузии, он увидел багровый круг солнца, поднимающийся над горизонтом. Но тот солнечный диск был далеко. Перед глазами комбата алел другой багровый круг — пятно крови на маскировочном халате связного.

— Ты ведь ранен, Петька, — говорил комбат.— Ползи в тыл, я приказываю тебе туда ползти.

Санитары оттащили их обоих и направили в медсанбат. Слесаренко вскоре поднялся и ушел в роты, отбивавшие немецкую контратаку... У Петьки оказались три раны — на груди, правой руке и голове.

— Я в свой батальон уйду, к своему командиру, — говорил Петька, когда ему перевязали раны.

— Даже не думай об этом, — сказал военврач.— Мы тебя отправим в госпиталь.

Но, улучив удобную минуту, Петька удрал из медсанбата и прибрел в Колпино, где помещались тылы батальона. Он поселился в комнате батальонного повара — Николая Давыдкина.

Давыдкин устроил для Петьки в уголке нары. Пришел врач Репьев, и Петька попросил его: «Вытащите мне осколки, я боли не боюсь, только вытащите здесь, товарищ военврач...» Он расспрашивал Давыдкина и Репьева о бое, о своем командире.

— Я скоро уйду к ним, на передовую, — говорил Петька.

— Чудак, у тебя правая рука ранена, — заметил Давыдкин.

— А я левой буду стрелять.

Давыдкин по утрам мыл и вытирал ватой лицо Петьки, кормил его с ложки.

Когда батальон, сдав рубеж обороны другому подразделению, возвратился в Колпино, Петька уже понемногу ходил.

V

Судьба на время разлучила меня с дивизией, где служил Петька, но маленький связной всегда был в памяти.

Летом сорок третьего года я снова попал в 268-ю дивизию. Она стояла близ Колтушей. Одним из полков командовал Ключанов, знаменитый в ту пору герой Ленинградского фронта. Крылатым стало двестишесте фронтового поэта: «Бей врага поганого, как бойцы Ключанова».

Теперь полк отдыхал вдали от передовой.

В растворенные окна дачного домика, который занимал Клюканов, солнце щедро бросало снопы лучей. В листве берез неистово бушевал птичий оркестр. Дымила полевая кухня. На траве лежали бойцы и неторопливо тянули песню.

— О, эти блокадные пареньки, — заговорил Клюканов. — Казались птенцами желторотыми, а как потом воевали. Петьку-то помните? Убит! Он в последнее время у комбата Кукореко был связным...

Скороговоркой, как это часто бывало на войне, упомянул Клюканов об этой, еще одной смерти и сразу же стал толковать о делах полка — о новых автоматах, присланных из Ленинграда, о том, что надо утвердить на завтра раскладку меню. И думалось — неужто очерствела в боях душа офицера, слывшего добрым отцом своих солдат? Или бесславно погиб связной Николай Хайминов, и успела уже улетучиться, как дымка, память о нем? Нет, трудно было этому поверить... И как бы подтверждая, что так быть не могло, Клюканов сказал:

— Этот Петька спать мне не дает. Честное слово, больно о нем вспоминать. Вот кажется, поднимется он среди тех бойцов, что лежат на поляне, пойдет вперед и крикнет звонко: «Боец Хайминов явился!»

Рядом у плиты возился истопник батальонной кухни — Семен Ефимович Яковлев, старый солдат с усталым и равнодушным, казалось, лицом, изрисованным сеткой морщин.

— Да, очень благородный был комсомолец, — вмешался старик в разговор. — Никогда ведь не выругается. Вот я старый человек, и то иногда в горячке черным словом пыльнешь. А он — никогда. Шутки, бывало, все у него полезные, песни разумные... Я в последнем бою вместе с Магоновым и Ченцовым на ту сторону Тосны продукты ночью подвозил. Сперва мы на бронекатере вместе с десантом шли. Разбило снарядами наш катер, пришлось спасаться вплавь. А потом все же на лодке подвезли хлеб и консервы бойцам. Сначала метров тридцать бечевой лодку тянули, а потом тихонько на веслах шли. Как хочешь, живым или мертвым путем, а доставить продукты надо. Там, на берегу, увидел я этого Петьку. Кругом огонь бушует, сабантуй настоящий, а он мне говорит: «Не робей, папаша, заробеешь — хуже». И верно ведь сказано.

VI

Узнав, что Петька служил связным у старшего лейтенанта Кукореко, я решил разыскать знакомого комбата, который прославился в боях на тосненском «пятакке».

Близился вечер. Солнечный диск коснулся горизонта — и заискрились, окрасились в мягкие вечерние тона дома, деревья, поля, заросшие крапивой и лебедой.

Батальон Кукореко, расположившийся на окраине Колтушей, готовился к выходу на учения. Накануне его пополнили новыми бойцами.

Старший лейтенант Кукореко, сидя на пеньке, рассказывал солдатам о траншейном бое и одновременно, сам того не замечая, вычерчивал прутиком на песке замысловатую фигуру, словно доказывая какую-то теорему.

Когда занятие окончилось, бойцы развели костер и вслед за Кукореко все улеглись на землю, понимая, что сейчас можно держаться при командире непринужденней.

Я попросил Николая Никифоровича Кукореко рассказать о Петьке, и, когда он заговорил, вместе со мной комбата слушали все бойцы. Да и сам Кукореко — я заметил это — обращал свой рассказ прежде всего к молоденьким солдатам, недавно пришедшим в батальон.

— Что ж, — так начал Кукореко, — стал Хайминов у меня связным, и полюбил я его, как сына. Щупленький он такой, верткий, бедовый.

Приказаний ему на день, быть может, сто выпадало, а он при каждой руке вытянет по швам и слушает со вниманием. А когда уж отдал ему приказание, считай время не на минуты, а на секунды. Не было случая, чтобы он опоздал. С автоматом никогда не расставался и берег его действительно, как глаз во лбу. Если Петька где-нибудь побывал и докладывал мне, я ему верил, будто сам там был.

С большой любовью относился к Петьке и комиссар нашего батальона — Синодский. Они очень дружили. Нередко Синодский поручал Петьке рассказать новеньким солдатам о предстоящем бое, дивизионную газетку им почитать. Однажды Синодский сказал мне: «У тебя хороший связной». И я ответил: «Еще бы...»

Утром 17 августа 1942 года наш батальон отвели в Рыбацкое. Около двух суток жили тут наши бойцы и офицеры в удобных квартирах. В комнате, где поместились мы с Петькой, стояла настоящая кровать, и мы оба на ней спали. Он норовил лечь на пол, чтобы меня не стеснять, и доказывал, что ему так удобнее, но я разоблачил эту хитрость.

Чуть свет Петька уже на ногах — умытый, подпоясанный, подворотничок чистый, сапоги блестят. У некоторых связных в штабе вид был затрапезный. Николай их стыдил, и стали они ходить аккуратнее. Даже когда мы в бой шли, он держал в сумке гуталин и небольшую щетку.

Батальон получил боевую задачу — захватить мост через реку Тосну, достигнуть села Ивановского, перерезать дорогу и закрепиться. С группой офицеров направился я к переднему краю на рекогносцировку местности. Хайминову я велел в штабе остаться, так как группа была велика, да и не хотелось без надобности подвергать его опасности. Обернулся я и вижу — идет он позади. «Коля, — говорю ему, — возвращайся. Если наша группа будет меньше, противнику труднее будет ее обнаружить». Тогда Петька подошел к связному ротного командира и что-то ему шепнул. «О чем он тебе говорил?» — спросил я позже связного. — «За вами велел смотреть».

Ночью, когда я вернулся, Петька говорит:

— Пошлите меня в разведку.

— Зачем? — спрашиваю.

— Я «языка» притащу. Теперь «язык» очень нужен.

— На это разведчики есть, — ответил я ему. — А ты связной и должен свои обязанности выполнять.

Насупился он, молчит.

В доме, где помещался штаб, верандочка была. Там бойцы собирались, и слышал я однажды, как Петька толкует: «Перейдем Тосну, выполним задачу, орденосцами станем». Он орден мечтал получить, по-хорошему мечтал, как всякий настоящий солдат.

Я отправился к бывшему Ленспиртстрою, где находились наши артиллеристы, и там мы договорились о сигналах взаимодействия артиллерии с пехотой. А назавтра, 18 августа 1942 года, в 21 час ноль-ноль батальон вышел на исходное положение в район деревни Новая.

Хайминов шел со мной. Метров за 40—50 позади рот мы оборудовали в землянке КП батальона, а впереди, у края обрыва — наблюдательный пункт. Оттуда хорошо просматривались в стереотрубу позиции противника. Петька отправлялся в роты с моими поручениями и, когда возвращался оттуда, рассказывал возбужденно: такая-то рота окапывается хорошо, а такая-то плохо, шума много...

В условленный час я передал ротам по радио приказ о начале наступления. Бойцы выдвинулись в район моста и вслед за огненным валом пошли в атаку. Оборона врага была прорвана. Петька шел с цепями первого эшелона. Прибежав на КП, он доложил мне обстановку. Была у меня с ротами и телефонная связь, и я принял решение, не мешкая, перенести КП батальона вперед, в одну из захваченных офицерских землянок. Там висели разглаженные френчи, шинели, стояла бутылка с водкой и сифон с газированной водой, валялись бритвенные приборы... Петька помогал мне оборудовать КП, осматривать траншеи, тянувшиеся вправо и влево... В руки его попали немецкие трофейные гранаты, и он роздал их бойцам... А шесть гранат умудрился поместить у себя за поясом. И вид у него стал особенно бравый.

Недолго задержались мы и на новом КП. Девятнадцатого вечером я вместе с Петькой переходил мост через Тосну. До половины моста мы двигались ползком. Петька появлялся то справа от меня, то сзади. «Ты не чуди, — кричу я ему, — себя береги!» Вторую половину моста мы преодолели броском. Петька кричал мне: «Ползите!» — но медлить нельзя было.

На этот раз командный пункт расположился между церковью села Ивановского и рекой Тосной. Землянка командного пункта была небольшая, с одним накатом бревен. Рядом с траншеей Петька вырыл нишу для меня и для себя. Быстро была развернута рация.

В этот день, 19 августа, мы окапывались, укрепляли оборону, и все было спокойно, если не считать того, что противник вел сильный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь. Да ведь на войне огонь — дело обычное. Неприятнее было другое: целые сутки мы ничего не ели, так как переправа находилась под шквальным огнем. Все же ночью, невзирая ни на какие опасности, бойцы тыла доставили к берегу продовольствие. Петька сбегал туда, принес буханку хлеба, мясные консервы, и мы с ним набросились на еду. В те минуты нам не было дела до снарядных разрывов, от которых так и дрожала землянка.

Траншея, которую мы занимали, шла ломаной линией вдоль берега реки Тосны у впадения ее в Неву. Впереди рос густой бурьян. Двадцатого, часа в два дня мы увидели сквозь эти заросли несколько вражеских танков, шедших со стороны села Ивановского. Все отчетливее слышалось гудение моторов. За танками двигалась пехота. Я приказал бронебойщикам бить по танкам в упор, а по радиации вызвал огонь артиллерии. Да, жарко было тогда. Метров за тридцать от наших траншей поднялась в атаку вражеская пехота. Мы пустили в ход автоматы, пулеметы и вывели из строя много вражеских солдат. Но что говорить, мы и сами несли большие потери.

А назавтра противник наступал шесть раз. Фашисты проникли в траншею и устремились по ней. Батальон стоял на смерть. Из тел убитых врагов в траншее образовалась перемычка, и мы бросали через нее гранаты. Гитлеровцы, в свою очередь, забрасывали гранатами нас.

Петька находился возле меня. Он ловко подхватывал немецкие гранаты, готовые взорваться, и перекидывал их вперед. Одну из гранат он не успел перекинуть. И она взорвалась вблизи нас. «Ложитесь, товарищ комбат!» — крикнул мне Петька. В ту минуту все обошлось благополучно, оба мы остались невредимы. Я посылал Петьку на фланги выяснять обстановку, передавать приказания, и он понимал меня с полуслова. Только посмотришь на него, и он все понимает.

Шло время. Нас оставалось немного, человек семь — восемь. Стреляли раненые, а Петька вел огонь из трех автоматов один. Подобрал он их еще ночью и, разодрав нижнюю рубашку, хорошенько прочистил. Он расположил эти автоматы в разных точках. Высматривая, где показываются вражеские солдаты, Петька подбегал то к одному автомату, то к другому, и стрелял. Вот какой это был парень. Не просто смелый, не просто лихой, а и смекалистый, умный. В бою стал он совсем бесстрашным, даже озорным и держался бодро, хотя не спал несколько суток.

У нас кончались боеприпасы. Петька обошел убитых, принес мне патроны, и я смог выдать оставшимся в живых по десятку штук. «Я побежал!» — крикнул Петька, взяв свои патроны, и голос у него был такой же звонкий, как всегда. А через минуту, набивая у выступа траншеи диск, он был ранен в живот осколком гранаты. Когда я оказался возле Петьки, он только и успел сказать: «Меня убило, товарищ комбат, держитесь...»

Не стану говорить, что чувствовали мы тогда, все равно не выразить мне этого. Слез-то не было, в бою не плачут. Прикрыли мы тело Петьки плащ-палаткой и продолжали держать оборону, экономя каждый патрон. Позже к нам пробились свежие батальоны и накрепко заняли позиции у впадения Тосны в Неву.

А зимой вместе с другими дивизиями мы прорвали блокаду, и тогда легче стало дышать Ленинграду. Я думаю, не забудет Ленинград таких героев, как Николай Хайминов, наш Петька.

Слушая Кукореко, мы и не заметили, как густая тьма опустилась над Колтушами. Пламя солдатского костра полыхало в ночи.

VII

Пронеслись годы...

В незабываемую весну пятьдесят седьмого года, когда праздновалось двухсотпятидесятилетие Ленинграда, у Московской Славянки открывался обелиск в честь защитников великого города.

Это было вблизи тех мест, где воевал Петька.

Под порывами ветра, разносившего медвяные запахи трав, колыхалось полотно, которое прикрывало высокий остроугольный камень.

Вокруг толпился народ. Иные из пришедших сюда бывших фронтовиков встретились впервые после тринадцати — четырнадцати лет разлуки. И нередко можно было видеть, как люди в волнении бросаются навстречу друг другу; как идут они группами по полю, разыскивая свой окоп, свою огневую позицию.

— Смотри, вон та развилка дорог, возле которой мы лежали, — говорит один.

— А тот овражек узнаешь? Тебя отсюда санитары вытаскивали, — замечает другой.

Бесконечно далекими казались времена, когда шли тут бои, далекими и необычайными.

Пестротканый ковер трав, пышные яблоньки, нежно-зеленые полосы озими украсили грозное некогда поле битвы. Ленты асфальтовых шоссе вились близ Московской Славянки, Колпина, Ям-Ижоры, Ивановского, испепеленных в войну и возрожденных из пепла. И рядом с бывшими фронтовиками стояли молодые девушки и парни, те, кому в войну было лишь по пяти — шести лет. Сильные, загорелые, были они одеты в рабочие костюмы, так как явились на открытие обелиска из цехов Ижорского завода — от мартеновских печей, прокатных станков, разметочных плит...

Когда опустилось полотно, прикрывавшее обелиск, перед взорами людей возник строгий и величественный памятник серого гранита с высеченной на нем надписью, прославляющей защитников Ленинграда. И тотчас же подножие памятника было засыпано цветами. Их принесли колпинские пионеры, дети и внуки знаменитых ижорских ополченцев.

Прозвучала команда, и мимо обелиска двинулись курсанты военных училищ. У них были молодые, мужественные, одухотворенные лица. В парадных, шитых золотом мундирах шли они, твердо печатая шаг.

И, вглядываясь в лица солдат, молодых рабочих и пионеров, я узнавал в них живого Петьку, незабвенного юношу-героя, всегда готового к подвигу во имя Родины.



М. Сонкин

В морском порту

I

Одни соседи эвакуировались, другие умерли. Во всей квартире жили они теперь вдвоем: Ваня и маленькая Валюша.

Мать до последних дней ходила на работу. Она отдавала свой паек детям, постепенно слабела и слегла. В один из январских дней мать почувствовала себя совсем плохо.

— Может, за доктором сходить? — спросил Ваня.

— Не надо, сынок, все равно не поможет. Она заплакала и добавила:

— Если меня не будет, напиши вот по этому адресу... Есть в порту Мария Григорьевна Урбанюк... Попроси, чтобы приехали за вами... Дай мне карандаш...

Ослабевшей рукой она написала на стене адрес медико-санитарного отряда пароходства, где до войны служил ее муж.

Назавтра Ваня проснулся и увидел, что мать лежит совсем бледная. Он позвал ее, но мать не ответила. Стал будить, тормошить, но она молчала. Ваня понял, что случилось. Он безотчетно прикрыл руками глаза и заплакал. Но тут же заставил себя молчать. «Вдруг проснется Валюша и узнает, что мама умерла?»

Ваня торопливо оделся и переложил спящую сестру на другую кровать.

Весь день мальчик был в раздумье. Что делать? Родных в городе нет. Отец далеко... Только теперь Ваня понял, почему мать оставила на стене адрес...

Ваня составил план действий.

Он написал письмо, сходил на почту, опустил конверт в ящик. На обратном пути выкупил хлеб, а придя в квартиру, закрылся на все замки и засовы.

Теперь ждать — ждать, когда придут тети из отряда.

Еще во время болезни матери Ваня сжег все деревянное, что было в комнате. Теперь он начал отапливать комнату книгами. Их было у отца немного. Ваня сам установил норму. Он разложил книги стопками на полу. Одну сжигал утром, вторую — вечером.

Два дня спустя осталось всего три стопки. Тогда Ваня разделил каждую пополам...

II

В семь утра дежурная вошла в казарму:

— Девушки, подъем!

Через несколько минут дружинницы стояли в строю. Командир отряда объявляла задания на день.

Медико-санитарный отряд пароходства помещался в клубе моряков. Девушки жили по-военному: спали на жестких солдатских койках, питались из одного котла, носили форменное обмундирование.

Было обычное блокадное утро: в казарме холодно, за окнами — февральская стужа, темно. С улицы доносились отдаленные раскаты артиллерийских выстрелов, — стрелял Кронштадт.

— Карповой и Рыбиной патрулировать по Межевому каналу, — звучал размеренно тихий голос командира отряда. — Яковлевой обойти квартиры в доме 74 по проспекту Огородникова. Чижиковой — особое задание.

Мария Григорьевна Урбанюк внешне мало походила на командира, который может приказывать, требовать, распоряжаться. Это была немолодая женщина в очках, с первыми проблесками седины, с добрым взглядом все понимающей матери.

Командир отряда развернула небольшой листок бумаги и передала его дружиннице Марии Чижиковой.

Та стояла на левом фланге, маленькая, худая, с шеей-соломинкой, странно торчавшей из ватника, который в последнее время стал для нее непривычно просторным.

Только в строю называли эту дружинницу полным именем и по фамилии. А подруги, знакомые, десятки людей в порту звали ее просто: «Маша Чижик».

... На листочке, переданном командиром отряда, Маша прочла:

«Дорогие тети! Мама моя умерла, я отвез ее на саночках. Папа на фронте. Мы остались одни — я и Валечка. Она совсем маленькая. Мама сказала, чтобы я написал вам. Прошу, пожалуйста, дайте помощь». Дальше стояла подпись — «Ваня».

— Возьмете с собой двух дружинниц и отправитесь на Васильевский остров, — сказала Мария Григорьевна.

— Есть, — ответила Маша. Сборы были недолги.

— Девушки, пошли!

Уже рассвело. Холодный снежный ветер обжег лица дружинниц, как только они оказались на улице. Пришлось ниже надвинуть шапки, крепче перевязать шарфы.

Улицы были засыпаны снегом. Идти было трудно: ноги увязали в сугробах. К тому же все более сказывалась слабость.

После трех часов пути дружинницы, наконец, оказались перед большим старинным домом. Вошли в подъезд. Он напоминал пещеру: здесь было сумрачно, а вдоль стен виднелись наплывы льда, на трубах висели сосульки.

Нужно было подняться на третий этаж. Когда-то такой путь был для девушек делом пустяковым. Но теперь...

Маша выработала свое правило, как подниматься по лестнице. Если считать каждую ступеньку, то путь покажется еще трудней. Лучше остановиться и, собрав силы, разом проскочить три — четыре ступеньки. Потом надо снова передохнуть и посмотреть вверх. Но не очень далеко, не выше как на три — четыре ступеньки. Это следующая «порция».

На третьем этаже Маша зажгла электрический фонарик и постучала. За дверью послышались шорохи:

— Тетеньки, это вы?

— Да, Ваня, открой.

Дверь открылась, и Маша увидела маленького человечка, закутанного в большую флотскую шинель. Под шинелью угадывалась еще какая-то теплая одежда. Поверх всего был повязан теплый женский платок.

— Проходите, тетеньки, — повторил мальчик.

В конце коридора Ваня открыл еще одну дверь — в комнату, где он жил с сестрой.

Здесь стоял полумрак. Единственное окно завалено подушками; дневной свет проникал только через одну створку. К форточке подходила круглая железная труба от печки-временки, находившейся посреди комнаты.

Маша спросила:

— А сестра твоя где? Ваня указал на кровать:

— Спит...

Маленькая Валюша лежала, сжавшись в комочек, укрытая одеялами, шинелью, пальто, ватниками.

Маша разворошила эту груду одежды и одеял, взяла Валюшу на руки.

Та проснулась:

— Уже пришли?

Она с готовностью обняла Машу за шею и, повернувшись к брату, взглядом спросила: эту тетю они ждали?

— Оденемся и пойдем, — деловито сказал Ваня и стал собирать Валюшины вещи.

III

Снова был трудный, бесконечно долгий путь.

Ваня шагал позади сестренки, которую дружинницы везли на санках.

Мальчик по-своему представлял тетю Марию Григорьевну и отряд, куда его приведут. Он думал, что там тепло, как до войны, светло, горят огни. Можно снять папину шинель и ватник. Накормят настоящим хлебом и даже, может быть, дадут кусочек сахара.

Уверовав в это, он сразу занялся другой мыслью, которая его волновала не меньше. Мама говорила, что тетя Мария Григорьевна продержит их недолго, после чего отправит в детский приемник. Это дом, где собирают детей, у которых умерли родители. Из Ленинграда их вывезут, и он с Валею расстанется: совсем маленькие живут отдельно, а школьники — отдельно.

Только теперь, когда он шел в отряд, ему представилась во всей ясности эта картина: сестра будет жить где-то в другом месте, может быть — в другом городе, а он даже не будет знать, где она. Может случиться, что она потеряется, и тогда он останется один. Вырастет, будет знать, что где-то есть на свете сестра, а где она, что с ней, — неизвестно. Нет, он не должен допустить, чтобы так случилось!

Ваня вошел в казарму, пугливо оглядываясь по сторонам, готовый к быстрым действиям.

— Товарищ командир отряда! — отрапортовала Маша Чижик. — Ваше приказание выполнено. Дети моряка доставлены.

Ваня стоял рядом. Валюшу дружинницы держали на руках.

— Хорошо, — ответила Мария Григорьевна. — Накормить и связаться с детоприемником.

Услышав это слово, Ваня побледнел и участливо посмотрел на Валюшу. Так и есть: разлука неминуема. Но он не допустит этого!

Однако действовать еще было преждевременно.

Детей посадили рядом. Маша поставила перед ними две миски, в каждой из которых оказалась настоящая перловая каша! Правда, немного, но настоящая. Потом Маша дала по чашке чаю с двумя кусочками сахара.

Три дня прожили Ваня и Валюша в отряде. Дружинницы выпросили в столовой несколько ложек муки и варили ребятам суп-«затируху»; делились с ними обедом, отдавали последний кусок сахара, отказывали себе во всем, лишь бы поддержать детей, оказавшихся на их попечении.

В полдень Маша подошла к Ване и, стараясь быть веселой, сказала:

— Ну, дружки, пора в путь.

Ваня, предчувствуя недоброе, нахмурил брови:

— Тетя Маша, в детский приемник меня не отправляйте.

— Почему?—удивилась дружинница.

— Потеряю я Вальку... А что же я один останусь? Мамы нет, папа, может, тоже не вернется.

— Откуда у тебя такие мысли?

— Валька маленькая, ее в другую группу пошлют. Вы меня лучше устройте на работу, а Вальку — в детский сад. Я буду к ней ходить, относить свой паек. А война кончится — заберу... Тетенька, очень прошу...

— Работать? Да что ты умеешь делать?

— Я все буду делать, что скажут.

— Сколько тебе лет? — усмехнулась Маша.

— Одиннадцать... двенадцатый пошел.

— Двенадцатый... — повторила дружинница. — Вот именно... Да ты посмотри на себя. Разве такими руками работают?

Но Ваня не дослушал. Не говоря ни слова, он круто повернулся.

— Ты куда? — забеспокоилась Маша.

— Ухожу. Валюшку тоже не оставлю. Пойдем домой.

Маша преградила дорогу:

— Да ты думаешь, что говоришь?

— Думаю, — подтвердил он. — И Валюшку не оставлю...

Ваня хотел проскочить мимо. Но сил у него не хватило, и он свалился.

— Иди сюда, — сказала Маша и усадила его на стул. — Ты же умный парень и не робкий, а поступаешь, как глупыш. Ну, куда ты пойдешь? Тебя надо срочно отправить в стационар, а ты о работе думаешь? Успокойся, мы устроим так, чтобы с Валюшей тебя не разлучили.

Через несколько минут Ваня слышал, как командир отряда говорила по телефону:

— Этот пострел просится на работу. Да, да...

Представьте, говорит, что будет выполнять все, что скажут. Ни в какой приемник идти не хочет... А что, если устроить его на «Пятьсот девятый»? Девочку возьмем в наш портовской детсад...

IV

Дружинница вела Ваню по причалам Гутуевского ковша. Пароходы, выкрашенные для маскировки в белый цвет, едва выделялись на фоне снега и льда. На бортах пароходов вместо привычных названий виднелись условные номера.

Ваня не раз бывал в порту — встречал отца из дальних рейсов, иногда жил у него на пароходе. Мальчик спускался в машину, бегал по палубе, поднимался на капитанский мостик. Он,

бывало, хвалился перед своими товарищами: «Пароход знаю как свои пять пальцев». И верно, проходя по порту, Ваня заметил то, что вряд ли бросилось бы в глаза другому его сверстнику.

Над трубами пароходов, несмотря на разгар зимы, не было привычных дымков. Иллюминаторы затянуло снежными узорами. То здесь, то там из иллюминаторов торчали трубы времянок. Стены верхних надстроек покрылись ледяной коркой. На палубах — горы снега. С вант свисали огромные белые гривы. Казалось, пароходы покрыты ледяными панцирями.

Ване стало жутко от одной только мысли, что вдруг его ведут на такое судно. Как он там будет жить, да еще работать? «Напросился», — по-взрослому досадуя, подумал мальчик.

Но вот вдали показался громадный белый корпус пассажирского турбоэлектрохода «Балтика». Он значился под номером 509. Над его трубами тоже не было дымков, зато откуда-то вырывались и таяли в морозном воздухе белые клубы пара. Здесь была жизнь! С января 1942 года, когда льды и враг блокировали все входы и выходы из Ленинградского порта, на пассажирском турбоэлектроходе «Балтика» развернули стационар — лечебный и питательный пункт для моряков и портовиков, истощенных голодом, холодом и болезнями.

У трапа стоял вахтенный матрос. Он был в форменной одежде. Поручни на трапе блестели свеженачищенной медью. Все было так, словно судно только что возвратилось из заграничного рейса.

Вахтенный проверил документы и пропустил дружинницу и мальчика на палубу.

Здесь было тепло и светло, как когда-то на папином пароходе — коридоры и каюты, палубы и мостик освещались настоящим электрическим светом. Второе открытие, которое сделал Ваня, еще более удивило его: на «Балтике» есть горячая вода и душ, ванны и водопровод. В каютах — белоснежное белье, ковры и скатерти.

Ваня не сразу поверил, что все это — под одним небом, в одном городе, в трех часах ходьбы от его вымершего и опустевшего дома на Васильевском острове, в ста шагах от пароходов, покрывшихся ледяными панцирями.

Ваню помыли, переодели, накормили и направили в одну из кают.

Наступил вечер. Ваня лежал на верхней койке, думал о Валюше, представлял, как она устроилась в детском саду. «Скучает, наверное?..» Взгляд его задержался на молочно-белом плафоне, висевшем на подволоке. 1 Оттуда лился мягкий электрический свет... Внизу весело журчала грелка (так на флоте называют отопительные батареи), где-то далеко, в самой глубине корабля, слышался звякающий шум машин... Но вот за дверью раздался тревожный голос:

— На «Аретузе» кончается уголь. Надо срочно провести субботник.

'Подволок — потолок.

Ваня прислушался.

— Только три дня как ходили, — с досадой отозвался другой голос.

— Что ж делать... Если сегодня не привезем уголь, придется гасить котлы на «Аретузе», заморозим «Балтику»... Передайте на «Майю», «Шмидт» и другие пароходы: сбор в девятнадцать часов.

Ваня заерзал на койке... Он понял: нужно срочно привезти откуда-то уголь, иначе сегодня же ночью в его каюте, по всей «Балтике» остынут грелки, замерзнет вода, корабль покроется льдом... Знал бы Ваня, к кому обратиться, был бы кто знакомый, он пришел бы и сказал:

— Возьмите и меня... Я помогу...

Но слабость сказывалась, и Ваня, согретый теплом корабля, быстро уснул.

V

Ветер гнал поземку. Мгла, нависшая над портом, скрыла очертания кораблей, складов, зданий. Вокруг — ни огонька. Дороги замело. Но комсомольцы даже под свежим снегом безошибочно угадывали, где лежат протоптанные тропы: моряки не раз ходили этой дорогой.

Держались близко друг к другу, редко переговаривались. Шли сгорбившись, втянув головы в плечи, скрестив на груди руки. Так казалось теплее, так надежнее было встречать порывы ветра.

Моряки миновали Барочный бассейн, Лесной мол и по льду прошли в Угольную гавань.

Там издавна выгружали топливо — с кораблей на причалы и с причалов на баржи. Но теперь угля здесь не было — его вывезли еще в начале войны. Осталась только угольная пыль да крошки. Осенние дожди, а потом мороз и снег превратили эти остатки топлива в сплошные каменные глыбы. Попробуй, возьми их! В другое время никто этим не стал бы заниматься. Тем более, что тепла от такого угля немного. Не сейчас иного выхода не было: все пути подвоза топлива в Ленинград были перерезаны. А уголь нужен был для парохода «Аретуза», который стоял борт о борт с «Балтикой», отапливая ее.

Угольную гавань обстреливали вражеские батареи. Попасть в гавань было невозможно; заметив кого-либо, фашисты открывали огонь. Поэтому комсомольцы выходили на субботники вечером и работали всю ночь.

Рядом с Олегом Каменевым, секретарем комсомольского комитета «Балтики», встал Виктор Терентьев, сын главного механика этого судна. Виктор служил на пароходе «Отто Шмидт» учеником машиниста. Шестнадцатилетний, широкий в плечах парень, он, несмотря на голод, сохранил еще силу в руках. Олег сказал ему:

— Становись со мной. Ребята по нас будут равняться.

Выстроившись в шеренгу, заняли места моряки — с «Балтики» и «Аретузы», «Отто Шмидта» и «Майи».

В ночной тишине застучали кирки и ломы. Они со скрежетом вгрызались в черную, перемешанную со снегом каменистую массу.

Нарубив по несколько смерзшихся кусков угля, Олег и Виктор подгребали их, образуя небольшие холмики. То же делали соседи. Так продвигались они вперед, будто косцы в поле.

За первой шеренгой шли девушки. Они на ощупь подбирали отколотые куски и в мешках относили к машине, которая стояла в укрытии.

А моряки продвигались все дальше и дальше — по черному взрытому полю.

Первая машина, еще с прошлой ночи застрявшая из-за обстрелов в Угольной гавани, отправилась к Гутуевскому ковшу около десяти часов вечера. Только теперь моряки решили передохнуть, чтобы после этого нарубить уголь для следующего рейса машины.

Но едва они нашли тихое место, едва уселись, прижавшись друг к другу, как вдали замелькали зарницы, вслед послышались гулкие взрывы. Гитлеровцы начали очередной обстрел порта. Ураган пронесся по Южной дамбе, переместился на Лесной мол, захватил Угольную гавань. В течение нескольких минут вражеские снаряды неистово долбили землю.

Моряки не раз попадали под обстрелы, находясь на своих судах. Но здесь, в открытом поле, среди тьмы ночи, все казалось опаснее. Они распластались на мерзлой земле, припнули к ней головами и так лежали, пока свирепствовал огонь.

Обстрел прекратился так же внезапно, как начался. Вдруг все стихло. И эта тишина еще долго казалась непостижимо странной, непривычной.

— Эй, братия! — послышался голос Олега Каменева. — Что приуныли? Двинулись дальше...

И вновь выстроились моряки, и вновь пошли шеренгой, долбя кирками и ломом мерзлую землю.

Когда нагрузили машину, в кузове могли поместиться только несколько человек. Посадили девушек. Моряки снова пошли по завьюженным тропам. Скрестив руки за спинами, они медленно брели навстречу ветру, упрямо и хмуро глядя вперед.

...У борта «Балтики» Виктор Терентьев увидел отца: тот стоял у трапа и в темноте всматривался в фигуры моряков, возвращавшихся из Угольной гавани. Заметив сына, Александр Алексеевич позвал:

— Пойдем ко мне...

Виктор удивился: в такую пору отец ждал его на морозе? Не случилось ли что в семье?

На Викторе был черный, измазанный мазутом и углем ватник, брюки заправлены в старые, с рваными голенищами валенки. Лицо его, обветренное, обожженное морозом, было в угольной пыли.

— Садись, — сказал отец, когда вошли в каюту. Здесь, как повсюду на «Балтике», стены блестели зеркально светлой краской. Над иллюминаторами свисала шелковая портьера. Диван и кресло были застланы чехлами.

Виктор остановился у двери, снял с себя ватник и валенки, сложил это в углу и сел тут же, на корточках. В грязных брюках куда пойдешь?

— Садись к столу, выпьешь чаю и переночуешь,— сказал отец.

— Нет, батя, мне рано заступать на вахту. А у тебя тут так разоспишься, что не подняться будет... К тому ж вот я какой, — Виктор взглядом показал на свои рабочие брюки.

— Садись, говорят, — возвысил голос отец, но вслед мягко добавил:— Разбужу. Не проспай! А на чехлы эти не смотри. Выстирают...

Отец взглянул на Виктора, увидел его усталое лицо и, рассуждая вслух, сказал:

— Не гулял же... На трудное дело ходил... Это дороже чехлов.

Но Виктор поступил по-своему. Увидел на столе газету, взял ее, постелил на диван и только тогда сел.

— Можно и так, — согласился отец и заторопился. — Подожди, я сейчас...

И вышел.

Всё сегодня было необычно: отец сам пошел за чаем. Никогда этого раньше не случалось. Отец, бывало, встречал сына приветливо, но по-мужски сдержанно.

Да, главный механик Александр Алексеевич Терентьев не баловал сына. Он внушал ему с детства:

— Будешь моряком. А раз так, — нежности ни к чему.

Когда началась война, отец определил Виктора на флот. Поначалу его направили на «Балтику» — машинным уборщиком. Но зимой понадобились люди на других судах, и комсомолец Виктор Терентьев стал учеником машиниста на «Майе», а потом на пароходе «Отто Шмидт». Это судно стояло с потухшими котлами. Виктор жил в каюте, где на внутренних переборках почти не таяла белая изморозь. Камелек (так моряки называли печки-временки) не успевал согреть каюту — вокруг холодные железные стены. По ночам одеяла примерзали к переборкам. Кровь застывала, и Виктор просыпался, дрожа от стужи. Однако утром, точно в назначенный час, он был уже в машинном отделении. Весной «Отто Шмидт» должен отправиться в рейс, поэтому нужно было отремонтировать судно, не считаясь ни с какими трудностями.

Моряки работали не только в холоде, но и в полутьме, освещая места работы копилками и факелами.

Отец возвратился, поставил чайник, сказал:

— Пей, чтоб хорошо согреться...

А потом сам постелил сыну постель в своей каюте и разбудил в ранний утренний час... Виктор вовремя успел на вахту.

VI

«Балтика» в ту трудную зиму была не только стационаром.

Когда турбоэлектроход пришел в Ленинградский порт — это было в августе 1941 года, — носовая часть корабля оказалась поврежденной. Случилось это так. Судно шло из Таллина, имея на борту более трех с половиной тысяч раненых бойцов. На траверзе острова Гогланд корабль вдруг содрогнулся от взрыва. Заколебались мачты, лопнула антенна, погас свет... У самого борта «Балтики» взорвалась мина... Но экипаж отстоял судно! Несмотря на повреждения, турбоэлектроход остался на плаву. Затопленными оказались лишь некоторые отсеки, в том числе часть кочегарки.

Но, став надолго у стенки, «Балтика» с первых же дней начала по-новому служить фронту.

Моряки заделали пробоину, откачали воду из котельной, подняли пары. Заработала главная турбина. Но вырабатываемая ею электроэнергия стала использоваться не для вращения многотонных гребных винтов, а для задач сугубо сухопутных. От «Балтики» проложили электрокабельную линию, которая заканчивалась на Кировском заводе. В котельном отделении судна появились необычные плакаты: «Дадим больше электроэнергии фронтовому Ленинграду!»; «Молодой моряк! Экономь мазут и смазку. Чем больше сэкономишь топлива, тем больше электроэнергии получит фронтовой Ленинград».

Город уже был в кольце блокады. Крупнейшие заводы, в том числе Кировский, выпускавший танки и артиллерийские снаряды, оказались отрезанными от дальних линий электропередач. Не хватало топлива на заводских и районных электростанциях.

А на «Балтике» еще были запасы мазута. Вот почему здесь заставили в полную мощность работать турбогенераторы и передавать свою энергию — десятки тысяч киловатт-часов в сутки — цехам Кировского, Канонерского и других заводов. Электроэнергией «Балтики» пользовались также военные и торговые корабли, стоявшие тогда в порту, портовая телефонная станция, многие другие оборонные объекты. Током «Балтики» заряжали аккумуляторы подводных лодок, которые уходили из порта в дальние и опасные рейсы.

Поздней осенью запасы мазута кончились. Котлы на «Балтике» погасли. Турбогенераторы остановились. К этому времени на исходе оказалось и соляровое топливо, используемое для вспомогательных судовых дизелей — они приводят в движение динамо-машины.

Начальник механико-судовой службы пароходства инженер Виктор Иванович Кончаев и главный механик «Балтики» Александр Алексеевич Терентьев стали решать трудную задачу: как заставить «Балтику» снова служить фронту? Вспомнили, что в одном из затопленных отсеков на поверхности воды плавает мазут: во время взрыва была разбита одна из цистерн. Объявили аврал — «всем собирать топливо». На работу вышел весь экипаж, от старого капитана до молодого камбузника Бориса Лебедева. Стоя по грудь в воде, они вылавливали ведрами густую жирную массу и передавали по живому конвейеру дальше — к сборным бакам.

Собранный мазут моряки очищали, а дизель-динамо приспособили к работе на этом топливе. Правда, теперь электрического тока вырабатывалось намного меньше, чем осенью, когда еще действовали турбогенераторы, но его хватало не только на бытовые нужды стационара, но и для многих других целей...

VII

Ваня находился на положении больного около трех недель, а когда окреп, ему дали флотское обмундирование и назначили в машину уборщиком. Он подметал здесь палубу, протирал маслом металлические части двигателей, выполнял поручения механиков и мотористов.

... В машинное отделение принесли листовки. Они еще пахли свежей краской. Механик Алексей Шугаев стал читать вслух сводку «Совинформбюро».

Ваня подошел, прислушался.

— Интересуешься? — серьезно, по-взрослому, спросил механик.

— Угу... — нерешительно кивнул головой Ваня.

— А сам как читаешь? Небось, по слогам?

— Четверку имел по чтению, — не без гордости ответил Ваня.

— Тогда порядок. Есть важное дело...

Месяца два назад комсомольцы-моряки по заданию политотдела пароходства извлекли из разрушенного здания одной из городских типографий печатную машину и несколько наборных касс. Все это доставили и установили на «Балтике».

Ленинградцы, оторванные от Большой земли, с особой тревогой ждали вестей, передаваемых по радио. Судовой радиоузел получил приказ ежедневно принимать сводки «Совинформбюро», а судовая типография — размножать их.

Дело, о котором механик говорил Ване, заключалось вот в чем. Каждое утро мальчик относил толстые пачки листовок в политотдел пароходства. Там всегда ждали его прихода — моряки с судов, где радиостанции бездействовали, портовики, бойцы из отрядов МПВО... В политотдел приходили также связные из Кировского райкома комсомола. Они брали сводки, чтобы разнести их по всем заводам и фабрикам Нарвской заставы.

Новая жизнь настала для Вани!

Еще в первые дни работы машинным уборщиком мальчик заметил, что на судне есть мастерская, куда пускают не всех. Там днем и ночью не смолкает шум станков — туда тоже поступает электроэнергия. Но что делают станки, почему на дверях прибита дощечка «Вход посторонним запрещается», — оставалось загадкой. И хотя все время хотелось раскрыть эту тайну, спрашивать кого-либо Ваня не решался.

Однажды, это было вечером, его позвали:

— Одевайся потеплее. Будешь помогать у трапа. Ваня быстро оделся.

У трапа стояло несколько грузовых машин. К ним моряки подносили ящики с судна.

— Залезай в кузов, будешь укладывать, — приказали Ване.

Он мигом поднялся и стал растаскивать ящики.

— Виктор? — послышалось позади. — Вот кстати! К отцу идешь?.. А пока залезай-ка на машину. Поможешь нам.

Тот, кого называли Виктором — высокий плечистый парень, — не говоря ни слова, залез в кузов и стал рядом с Ваней.

— Это ты здесь машинным уборщиком служишь? — спросил незнакомец.

— Я.

— Ну и как, не обижают?

— Нет... Мой батя моряк. — Ваня полагал, что это достаточное объяснение, почему никто не может его обидеть.

— Ясно... А службу как несешь? — покровительственно спросил Виктор.

— Замечаний нет. Так и познакомились.

Поработав бок о бок, Ваня осмелел и как бы между прочим спросил:

— Ящики эти с чем будут?

Виктор в упор взглянул на своего нового знакомого и холодно ответил:

— Много знать будешь, скоро состаришься. Ваня опустил глаза, поняв, что сделал недозволенное.

Но через несколько дней его вызвал сам главный механик — Александр Алексеевич Терентьев:

— Ты язык за зубами держать умеешь?

Ваня вздрогнул. Неужели его накажут за то, что спрашивал о ящиках?

— Это чтобы секреты не передавать?

— Вот именно.

— Умею...

— То-то! Завтра пойдешь в мастерскую, будешь там помогать.

И, улыбнувшись, добавил:

— А встретишь моего Виктора, больше про ящики не расспрашивай.

— Ясно! — смущенно ответил Ваня.

Рано утром машинный уборщик открыл заветную дверь мастерской. Ваня увидел станки, за которыми стояли незнакомые моряки. Они работали здесь днем и ночью, а потому редко появлялись в других помещениях судна. Это были токари Виктор Федоров, Иван Шабанов, Валентин Третьяков...

Станки с гулом резали металл. Слетали стружки, фонтаны искр поднимались над фрезами.

— Будешь подметать здесь полы и укладывать детали, — сказал токарь Федоров.

В тот же день Ваня узнал, какие это были детали. Вдали от лишних глаз токари «Балтики» изготавливали в судовой мастерской части для снарядов знаменитых «Катюш»!

...Сбылась мечта Вани — он трудился теперь для фронта.

Каждую субботу его отпускали на берег, и он торопливо шел в детский сад, к Валюше. Иной раз встречал на улице дружинницу Машу. Тогда по-взрослому, по-морскому выпрямлялся. И глаза загорались радостью. Очень приятно было рассказывать, как Валюша ждет его, как носит он ей подарки. В конце неизменно добавлял:

— Вам, Маша, спасибо... Это вы помогли. Маша пожимала Ване руку и отвечала:

— Действуй. Ты теперь человек самостоятельный.



Е. Поляков

Блокадный хлеб

На вышке

Мария Радченко называла наблюдательный пункт — низенькую, квадратную открытую будку на крыше заводского здания — капитанским мостиком. Комсомолка и в самом деле чувствовала себя на вышке, как на обвеваемом злыми ветрами боевом корабле.

Внизу Нева, накрытая поверх ледяного панциря пушистым снежным одеялом, и на том берегу, за мостом Свободы, улицы и заводские причалы Выборгской стороны.

До войны на этом бойком месте, на стыке двух больших районов, все кипело. Сейчас редкий прохожий медленно, сберегая силы, переходил длинный, в сугробах, мост или одинокая женщина тянула по набережной детские саночки с грудкой связанных шпагатом дощечек.

Расплываются в бледном морозном небе скудные дымки заводских труб. Под ними в настывших цехах — люди, тысячи рабочих людей ремонтируют танки, собирают автоматы, вытачивают стальные минометные трубы, мастерят печурки для фронтовых землянок, ткнут прозрачную марлю на бинты.

Люди почти не выходят из цехов. Они постоянно на боевом посту, как полагается солдатам.

Маруся невольно вздрагивает. Правее моста, из-за длинной громады Военно-Медицинской академии, должно быть в районе Финляндского вокзала, появляются высоко вверх розовые от кирпичной пыли клубящиеся облачка и почти сразу же доносятся громы взрывов.

Она опускает бинокль и поднимает трубку телефона, связывающего вышку со штабом ПВО.

Из узкого чердачного окна вылезает на крышу пожилая женщина и, тяжело переставляя ноги в разношенных валенках, идет пробитой в снегу тропинкой к «капитанскому мостику».

— Как внизу, тетя Варя? — спрашивает Маруся.

— Неважно. Никак не привыкнем к новому тесту. Не всходит, ползет, липнет к формам, точно клейстер. Печем, однако. А помнишь, девушка, наши калачи, золотые плетенки с маком?

Маруся грустно усмехается непослушными от холода, по-детски пухлыми губами.

— Долго нам не печь белых калачей, а может, и вовсе никогда больше не придется.

— Что ты, Мария! — горячо возражает тетя Варя.— Мы еще будем печь самые распрекрасные белые булки. Обязательно. Не веришь?

Мария порывисто обнимает Варвару Даниловну.

— Если вы верите, то и я верю.

Кругом снова все затихает. Только ветер лениво метет сухой снег по крыше. Тетя Варя неторопливо уходит с вышки.

Тетя Варя

Варвара Даниловна за полтора десятка лет изучила хлебозавод лучше, чем кухню своей маленькой квартирке в Новой Деревне.

Она знала наизусть рецепты и способы выпечки самых замысловатых мучных изделий, умела печь хлеб изюмный и боярский, стародубский и карельский, всякие штрицели, плетенки, сайки, батоны. сдобу венскую и выборгскую, московские калачи, французские и домашние булки.

Никаких саек и штрицелей хлебозавод, конечно, в блокаду не выпекал. В широких металлических котлах-дежах из смены в смену, изо дня в день растворялся всего-навсего один-единственный сорт черного хлеба — блокадный. Но выпекать его было труднее, чем самую нежную сдобу.

Не так уж мудрено испечь хорошую булку, если под рукой чистосортная, мягкая и упругая, как гагачий пух, мука, масло, сахар, яичный порошок, если в водопроводе сколько хочешь воды, а на складе — многометровые штабеля жарких березовых дров.

А вот как сотворить съедобный хлеб из смеси побывавшей в воде ржаной муки, отрубей, мятой дуранды и жесткой, отдающей смолой и чем-то кислым целлюлозы! Как испечь хлеб, когда не хватает самой обыкновенной воды для замеса теста, на счету каждое полешко дров и людям ежеминутно грозит увечье и смерть от зазубренного осколка снаряда или бомбы!

Одна только рабочая смена Варвары Даниловны Орловой кормила хлебом сто тысяч жителей Петроградской стороны.

Много продуктов нужно, чтобы насытить большой город. До войны на городские склады, к элеваторам ленинградских мельниц приходили бесконечные железнодорожные составы, а к причалам морского и речного портов — десятки тяжело груженных пароходов и барж.

Осенью 1941 года доставка продуктов в Ленинград прекратилась. Гитлеровцы и белофинны, окружившие город, плотно закупорили все пути к нему, начисто отрезали от страны.

Запасов продовольствия хватило, ненадолго. Паек на взрослого человека был таким, что воробью и то надо больше. Хлеба выдавали крошечную порцию, но и ее получить было нелегко.

У Варвары Даниловны не выходила из головы картина, которую она не раз с замирающим сердцем наблюдала, когда приходилось по делам отлучаться с завода.

С раннего утра, а то и с ночи люди занимали длинные очереди у булочных. Выла злая метель, наметая на улицах непроходимые, как в степи, сугробы, трещал лед на Неве, заглушая иной раз грохот артиллерийских разрывов. Мороз рвал в щепы стволы могучих лип на бульварах. Обессиленные люди растирали друг другу щеки и терпеливо, долгими часами, ждали стограммового кусочка сыроватого блокадного хлеба.

— Не подведем, товарищи, — шепчет про себя Варвара Даниловна.— Не подведем, дорогие, пока сами живы.

Она отворачивается от окна каморки партбюро на пустынном втором этаже, где любит размышлять в свободную минуту, и вынимает из внутреннего кармана ватника аккуратно завернутую в платочек семейную фотографию. С карточки, величиной с открытку, смотрят на нее муж, дочь, сын...

Ушли вслед за своим вожаком — комсоргом Петей Шишлиновым — на фронт молодые заводские добровольцы. Отправились на войну вместе с другими и ее Боря и Надюша. Как можно

было не отпустить их! А материнское сердце болит, болит. Месяц назад похоронила мужа. Вся жизнь здесь, на суровой, многострадальной и трижды родной ленинградской земле...

Уйдя в воспоминания, Варвара Даниловна не заметила, как снег на Неве за окном из белого стал по-вечернему голубым и мост застлало дымчатой пеленой.

По городу снова перекатывалось эхо разрывов. Снизу, с первого этажа, доносилось мерное гудение работавших конвейерных печей. Надо было спускаться в цех — подходило время вынимать хлебы.

Натянув на ватник спецовку, она двинулась к дверям.

Вдруг под ней закачался пол, с потолка кусками посыпалась штукатурка, из выбитых окон ударила волна морозного воздуха. Раздался такой грохот, точно рушился весь завод.

Варвара Даниловна бросилась по лестнице вниз.

Цена блокадного хлеба

Снаряд, пробив окно, разорвался на устланном чугунными плитами полу в узком пространстве между стеной и печью.

Повсюду валялись осколки стекла, битый кирпич. Красная пыль тучей стояла в воздухе, медленно оседала на печи, стеллажи, белые спецовки девушек-пекарей, уносивших в медпункт раненых подруг.

Не успела Варвара Даниловна прийти в себя от одной беды, как узнала о новой.

— Не вертятся печи! — в отчаянии крикнула подбежавшая к ней молодая работница Мотя Калекина.

Тут она увидела в углу Александра Александровича— главного механика. Он сидел на табурете, обеими руками сжимал голову и медленно покачивался из стороны в сторону, точно от невыносимой боли. Не ранен ли?

Она подбежала к нему.

— Что с вами?

— Лучше бы такое случилось со мной. — Он устало поднялся с табурета. — Глядите!

На стенке висели два конца перебитого электрического кабеля, питавшего привод вращающихся печей. Торчали оголившиеся от изоляции, перепутавшиеся между собой, изодранные медные жилы.

— Сколько потребуется на ремонт? — быстро спросила она.

— Два часа самое малое. Хлеб в печах трижды успеет сгореть. Вы понимаете, что это значит?

— Мотя, — не отвечая главному механику, сдержанно сказала Варвара Даниловна Калекиной. — Вынимай формы!

— Как вынимать, — чуть не плача, возразила девушка, — печи же не вертятся!

— Завертятся.

Она схватила за руку Марусю Радченко, только что прибежавшую с вышки, и бросилась с ней к печам. Диков, понявший мысль тети Вари, побежал было за ними, но Варвара Даниловна остановила его решительным жестом.

— Мы сами. У вас свое дело, поважнее. Занимайтесь кабелем.

На вращающихся конвейерных печах наряду с механическими приводами были еще до войны, на всякий случай, установлены и ручные. Пользовались ими редко, во время ремонтов, и поручалась эта тяжелая работа самым сильным и выносливым мужчинам.

К этому приводу встали Варвара Даниловна и Маруся Радченко.

Калекина лихорадочно выбрасывала на стеллажи формы из появлявшейся в просвете печи полочки-люльки, и они снова крутили привод, налегая на рукоятку всем обессиленным телом, пока не показывалась следующая люлька.

Втроем они вынули двадцать тонн горячего хлеба из всех пяти печей. Вот, наконец, последняя, уже порядком подгоревшая, дымящаяся буханка легла на стеллаж. Тогда они сели в изнеможении прямо на пол, опершись на теплую стенку печи, не в силах сказать слова, хрипло дыша и беспомощно уронив руки.

Кончился артиллерийский обстрел. Вернулись работницы, дежурившие у ворот, на крыше, в медпункте, и работа в цехе продолжалась.

Замешивали тесто, убирали пыль, осколки, битый кирпич, забивали окна фанерой, снова загружали печи формами.

Работа продолжалась. Что бы ни случилось, ни один ленинградец не должен лишиться своего пайка.

Комсомольская цепочка

Городской водопровод выбыл из строя. Хлебозаводцев это вначале не смутило — рядом протекала полноводная Нева.

Мастер на все руки, слесарь Александр Александрович Диков, ставший в войну главным механиком, нашел простой способ. С помощью единственного, оставшегося на заводе, электромонтера Павлова он поставил на мосту Свободы пожарный насос. Насос гнал воду из реки по стометровому рукаву в бак, установленный в первом этаже завода. Из этого хранилища второй насос перекачивал воду в верхний бак, на чердаке, а оттуда она шла самотеком по старой водопроводной сети к дежам.

Так было до зимних холодов. На морозе гибкие резиновые рукава быстро промерзали насквозь и ломались как стеклянные. Нева была рядом, а цехам грозила остановка из-за отсутствия воды.

В тот день на завод привезли муку. Хлебопеки знали, что для машин, доставивших муку, отпустили, быть может, последние литры бензина, хранившегося на складе.

Комсомолки помогали шоферам разгружать машины. Пожилым работницам, хуже переносившим голод, этот тяжелый труд был не под силу.

Мешки, покрытые толстым слоем льда, выskalзывали из ослабевших рук. Судя по всему, мука немало дней пролежала в воде.

Девушки втаскивали мешки по лестнице, со ступеньки на ступеньку, во второй этаж. Там они их рассекали топорами — под коркой смерзшегося слоя белела сухая мука. Ее осторожно бросали совками на сита. На решетках сит после просева оставались пули и осколки.

Люди умирали, отдавая жизнь за эту муку. Но без воды не замесить теста. Напрасно будут ждать завтра ленинградцы в очередях. Они разойдутся по своим холодным квартирам без хлеба.

Маруся, посоветовавшись с парторгом — тетей Варей, собрала комсомолок.

— Тащите, девушки, ведра и собирайтесь внизу, у бака.

— Так ведь бак пустой, — удивились девушки.

— Вот мы его и наполним.

— Разве мыслимо наполнить такой бак ведерками?

— Мыслимо или немыслимо, — сказала Маруся, — а надо. Неужели же допустим, чтобы остановился завод!

Пробили ломами подальше от берега, где вода чище, большую прорубь. Выстроились живой цепью от проруби до самого завода и стали передавать одна другой наполненные ведра.

Ведер требовалось для каждой смены около тысячи. На самом деле каждая пара рабочих рук в комсомольской цепи переносила их по две и даже по три тысячи. На тридцатиградусном морозе только самые первые ведра доходили до бака полными, затем они обледеневали и снаружи и внутри до того, что в них помещалось меньше половины воды.

Часами действовал живой конвейер. Даже напряженная тяжелая работа не могла согреть ослабевших людей. Расплескивавшаяся из ведер ледяная вода насквозь пропитывала рукавицы и валенки. Руки и ноги деревенели, мерзли, но никто не сдавался, не покидал своего места в цепи.

В тот вечер в комсомольской цепочке участвовала и вышедшая на работу пораньше часть хлебопеков другой смены во главе со своим начальником, комсомолкой Лидией Райковой.

Крупная, крепкая Райкова стояла на самом трудном месте. Последней она принимала ведра и сливала их через открытое окно в бак.

Как ни аккуратно, рассчитывая каждое движение, работала комсомолка, все же вода выплескивалась на грудь, на ноги и тут же замерзала.

Когда последнее ведро было вылито, Лида попыталась сойти с места, но не смогла. Валенки накрепко, по самые щиколотки, вмерзли в лед.

Так и стояла комсомолка на ледяном постаменте, пока подружки топорами и кирками вызволяли ее из плена.

Обеспечить завод водой становилось все трудней. От недоедания и недосыпания быстро убывали силы. Многих одолевала цинга. Кровоточили десны, шатались зубы, ноги становились непослушными, спотыкались на ровном месте. Даже самые крепкие девушки— Лида Райкова, Тося Малкова, Маруся Радченко, Варя Коваленко, которых, казалось, никакая злая сила в мире не способна сломить, все реже смеялись, все чаще присаживались отдохнуть.

Заготовка воды вручную, да еще после многочасового труда на производстве, становилась непосильной.

На помощь приходят моряки

В начале ноября, когда Нева еще не покрылась льдом, к набережной у завода пришвартовалась подводная лодка.

Матросов на лодке оставалось немного. Часть экипажа еще ранней осенью ушла на фронт, в морскую пехоту. У оставшихся было вдоволь дела — корабль хоть и стоял на приколе, но содержался в постоянной боевой готовности.

Каждый матрос и командир работали за двоих. В точно положенные часы звенели на лодке склянки, драились механизмы и приборы, сменялись вахты.

Во время воздушных и артиллерийских тревог вахтенные с тревогой наблюдали за заводом, а заводские дежурные с таким же беспокойством следили за подводным кораблем, готовые каждую минуту прийти на помощь морякам.

Соседи сдружились. Да и как им было не сдружиться, когда их объединяла общая беда?

Подводники видели, каких мучений стоит девушкам добывание воды. Вся жизнь завода протекала на глазах моряков. В свободную минуту они и сами становились в комсомольскую цепь. Но их помощь мало что меняла.

Все больше задумывался над тем, как помочь заводу, командир лодки.

Стояла тревожная ночь. Гитлеровские самолеты, пробравшиеся в город, забросали его тысячами мелких термитных снарядов, зажигательных бомб.

Командир находился на вахте, на своем командирском мостике. На лодку не упала ни одна «зажигалка», но на заводской крыше то и дело вспыхивали озарявшие темноту оранжевые дымки. Он видел быстро мелькающие по крыше фигуры людей с длинными щипцами в руках, видел сбрасываемые один за другим вниз, в снежные сугробы, стрелявшие золотыми искорками черные комочки.

Наконец дымки на крыше исчезли. Он облегченно вздохнул и в это время услышал тревожные крики, несущиеся с заводского двора. Передав вахту помощнику, он бросился на завод.

Одна «зажигалка», сброшенная с крыши, закатилась под деревянное здание медпункта. Оттуда валил удушливый дым. Люди, стоя на корточках, пытались ломami, лопатами выгрести «зажигалку», но безуспешно.

Внезапно около медпункта показалась Маруся, которая до того, как всегда, дежурила на крыше. Она легла на снег и поползла под дом.

Отвернув лицо, девушка пыталась дотянуться до бомбы руками. Загорелись рукавицы. Комсомолка сбросила их, сделала отчаянный рывок и голыми руками вытолкнула «зажигалку» наружу.

Именно Маруся и явилась однажды на подводную лодку и попросила вахтенного вызвать командира.

— Чем могу служить? — радушно встретил девушку командир.

— Вопрос у меня к вам, — сказала комсомолка.— Видела я однажды, как ваши матросы из шланга окатывали палубу. Столько воды на нее вылили, что нам бы на полбака хватило. Где вы воду берете?

— В Неве, конечно.

— В Неве-то в Неве, да ведь не ведрами вы воду добываете!

— Зачем ведрами, когда у нас есть насосы.

— А сильные? — спросила Маруся.

— Это военная тайна, — усмехнулся командир.— Но вам по секрету могу сказать, что раза в четыре, если не впятеро, посильнее вашего, что стоял на мосту. Впрочем, — добавил он с сожалением, — я понимаю, к чему вы спрашиваете. Сам не раз думал об этом и с боцманом советовался. Ничего, решительно ничего, к сожалению, невозможно сделать.

— Почему?— допытывалась Маруся.

— Не имеем права рисковать своими шлангами. Ведь они военное имущество, водоотливное средство. И, кроме того, у нас горючего на корабле в обрез. Сами знаете положение с горючим. Тот же хлеб. Еще дороже.

— Вы не спешите? — неожиданно прервала его девушка.— Подождите пару минут здесь, на палубе. Очень прошу. Я сейчас же вернусь.

Вернулась Маруся не одна, а с главным механиком.

— Что-нибудь случилось? — обеспокоенно спросил командира запыхавшийся от быстрой ходьбы механик.— Маруся так меня торопила.

— Ничего не случилось, Александр Александрович,— лукаво улыбаясь, ответила за командира девушка,— но, кажется, может получиться хорошее дело. Для этого я вас и привела. Скажите, пожалуйста, заводу полагается горючее для работы насоса?

— Что толку, что полагается и что оно есть у нас, когда все равно не можем им пользоваться?

— Хорошо. А шланги запасные у нас на заводе есть?

Командир не дал ответить механику. Он уже все понял. Взяв под руку Александра Александровича, он направился с ним на завод.

Маруся ушла на свою вышку. С крыши она видела, как на набережную вслед за командиром и Диковым, тащившим на палубу лодки широкий брезентовый рукав, высыпал чуть не весь завод.

Через некоторое время на вышку поднялась Варвара Даниловна, крепко обняла Марусю и радостно сообщила:

— Бак наполнился за восемь минут. Шланг даже не успел замерзнуть. В комсомольской цепочке больше нет нужды.

* * *

Налеты фашистской авиации все учащались. Зная, что на Неве зимуют суда Балтийского флота, гитлеровцы не жалели сил, чтобы обнаружить корабли и разбомбить или изрешетить их снарядами своей дальнобойной артиллерии.

Подводная лодка почти сливалась с берегом, но все же могла быть замечена с воздуха и навлечь на себя удар. При этом мог пострадать и завод. Командир решил получше замаскировать корабль.

Он задумал построить над лодкой деревянный навес, а еще лучше — сарай со стенками. Сверху сооружение будет похоже на узкую пристань, причал или живорыбный садок.

Сарай — сооружение несложное, однако без материала и без людей его не построишь.

Командир обратился за помощью к Дикову. Александр Александрович очень обрадовался, что нашелся случай отблагодарить моряков за воду.

— Доски добудем и сам помогу, — с готовностью сказал он. — Есть у меня кой-какой опыт. Знаю, что и девушки не откажутся помочь.

На второй день все свободные работницы принялись вместе с моряками за стройку маскировочного сарая.

Через годы

Работает и сейчас в Ленинграде хлебозавод № 2, который кормил в блокаду сотни тысяч людей. Только сейчас он в новом светлом здании, выстроенном в Новой Деревне.

Жива коммунистка Варвара Даниловна Орлова, и хоть она на пенсии, но часто бывает в родном цехе со своим внучком — школьником Толей.

Живы Маруся Радченко, Лидия Райкова и Варвара Коваленко. Только они теперь не комсомолки, а уважаемые члены Коммунистической партии.

Вереницы закрытых машин непрерывно, с утра до поздней ночи уходят с завода, уставленные до самого верха ящиками с хлебом горчичным и боярским, ситным с изюмом и маком, сладкой, тающей во рту сдобой...



А. Бейлин

Мальчики с Заречной улицы

Я люблю бывать в Колпине. Жаль, что мне удастся это так редко. Колпино находится всего в тридцати километрах от Ленинграда, но не всегда можно оторваться от дел, чтобы вновь повидать тот город, с которым связаны самые сильные впечатления военных лет.

Когда я приезжаю на берега Ижоры, мне не сразу удается погрузиться в воспоминания. Сначала я прохожу по улицам города, какого никогда здесь не было. Это новое Колпино, отстроенное после войны и ничем не напоминающее прежнего поселка при заводе. Большие, очень красивые дома совсем преобразили его привокзальную часть. И только когда новыми улицами я выхожу к берегам Ижоры, время словно переносит меня на пятнадцать лет назад.

За рекой тоже многое переменялось, но здесь больше примет той необыкновенной поры, когда нынешние дедушки еще были только отцами, а отцы расставались с юностью. А главное — мостик через Ижору. Сколько людей прошло по его деревянному настилу, который не раз прогибался под тяжестью орудий и танков. Ни днем, ни ночью не знала покоя эта дорога к переднему краю. Отсюда и начинаются воспоминания.

Я стою на левом берегу Ижоры, застроенном новыми многоэтажными зданиями. Этому берегу дали название: Комсомольский канал. За мостиком, на другом берегу, начинается Заречная улица, ведущая к стадиону. Я иду через мостик.

* * *

Улица прямая, широкая, лишь кое-где беспорядочно мощенная булыжником. Дождливой осенью и весной, в пору таяния снегов, когда взрослое население улицы пользовалось только деревянными настилами, мальчуганы овладевали булыжными островками и весело вели войну за расширение территорий.

Встречались они каждый день. И зимой и летом. То днем, то вечером. Взрослые, наверное, называли бы это дружбой, а они были просто товарищами, мальчиками с одной улицы. Они интересно играли и часто ссорились, больше всего из-за пустяков, и быстро мирились, потому что не могли долго быть друг без друга. Рассердиться всерьез — это значит остаться одному, когда остальные все вместе, когда всем им весело.

Коля Рабышко всего лишь один раз обиделся, услышав, как кто-то назвал его каланчой. Вскоре он понял, что его высокий рост в этой разновозрастной ребячьей команде в некотором роде даже преимущество. И прозвище стало уже не обидным.

Другой Николай был старше Рабышко на несколько лет, а ростом много меньше, и это их как бы уравнивало. У Дорофеевых в семье все не очень большие, а Рабышко в отца.

Но зато Николай Дорофеев раньше, чем Рабышко, поступил на завод. Получив рабочий номер, он быстро почувствовал себя взрослым и отошел от ребячьих игр. Ребята смотрели на него теперь с уважением и завистью. Они даже умолкали на минуту, когда он проходил мимо, возвращаясь с завода домой. А Каланча все еще носился по улице и вел войну за булыжные островки.

Только однажды Николаю Рабышко удалось снова вовлечь Дорофеева в свою компанию. Был субботний день. Мать испекла пироги и ожидала гостей. Попотчевав Николеньку, она дала ему на вечер «вольную».

— Но только чтоб до ночи был дома,— сказала она.

Николай махнул головой, — дескать, не извольте беспокоиться.

Он вышел на улицу, по-хозяйски окинул дорогу взглядом — сначала вправо, потом влево — и вдруг увидел Кольку Дорофеева.

— Здорово! — крикнул Николай Рабышко.

— Здравствуй, — отозвался Николай Дорофеев.

— Куда идешь?

— Да так, особо никуда...

Дорофеев остановился у дома Рабышко, ковырнул землю носком, молча потоптался на месте, и Рабышко почувствовал, что товарищ хочет ему что-то сказать.

Но Дорофеев не торопился.

— Как живешь, Каланча? — спросил он. Николай Рабышко поморщился: что же, значит, прозвище это так за ним и останется на всю жизнь? Одно дело, когда вместе по улице бегали, а теперь слышать такое от Кольки Дорофеева довольно странно. Но Рабышко сделал вид, что его не задело это обращение. Ответив с некоторым безразличием, он, в свою очередь, спросил у Дорофеева:

— На футбол завтра пойдешь?

— Пойду, а ты? — Дорофеев оживился, и в глазах его сверкнула веселая искорка.

Объявленная на воскресенье игра не была предусмотрена календарем розыгрыша первенства СССР, однако ребята готовились к ней уже целую неделю. Шутка ли, на колпинском стадионе встретятся футболисты Ижорского завода с путиловской командой. Это посерьезней первенства страны. Тут есть за кого поболеть. Дорофеев и Рабышко, конечно, как всегда, будут болеть за ижорцев. А вот у Федоровых — другое дело. Хотя сами они колпинские, симпатии их на стороне путиловцев. Там, в команде, один из Федоровых играет центром нападения. Ну, да все равно ижорцы покажут себя.

— А я сегодня разряд получил, — сказал вдруг Дорофеев, и Рабышко понял, что это и есть то самое, что хотел ему сообщить товарищ. Он не знал, как нужно было ответить на это, но молчать было тоже нельзя.

— Пошли сегодня в пещеры? — неожиданно предложил Рабышко, и хотя Дорофеев ждал от Каланчи не этого, он все же согласился без долгих раздумий.

* * *

Если пройти от Колпина вдоль полотна железной дороги, то совсем недалеко, в районе Поповки, будет огромный участок земли, глубоко изрытый в разных направлениях и похожий не то на военные оборонительные сооружения, не то на остатки древних поселений. На самом деле здесь находились когда-то, в очень давние времена, бутовые каменоломни. Карьеры протянулись на многие километры. Давно уже заброшенные, они походили на старинные пещеры. Высокие отвесные стены, причудливые лабиринты, подземелья с низко нависшими сводами, водопады... Все здесь было таинственно и сулило много приключений. Тот, кто уже однажды побывал в пещерах, обязательно приходил сюда снова.

Пещеры были излюбленным местом прогулок колпинских ребят. В воскресенье они отправлялись туда шумными ватагами, предводительствуемые самыми старшими, и карабкались на скалы, блуждали по лабиринтам, обследовали подземелья, как истинные следопыты.

Чувствовали они себя в такие дни свободно, не то что на экскурсиях, которые устраивала иногда в пещерах школьная учительница Клавдия Васильевна. Им хотелось взбираться на отвесные стены, а Клавдия Васильевна заставляла искать какие-то камешки и отламывать веточки от сухого кустарника. Им интересно было преследовать ящерицу, прыгать через водопады, как это делают в кино смелые джигиты, а учительница довольствовалась давно уже мертвой, высохшей на солнце лягушкой и все время предупреждала: «Осторожно, не промочите ноги».

Вместе с двумя Николаями в тот вечер отправились в пещеры кое-кто из ребят с Заречной улицы. Рабышко и Дорофеев шли рядом по самой кромке насыпи, другие тянулись за ними. Дважды пролетали мимо железнодорожные составы: один пассажирский— скорый, другой — товарный, с платформами, на которых стояли покрытые брезентом машины.

Оба Николая всю дорогу рассказывали разные истории. Один — с некоторой снисходительностью уже взрослого человека, другой — с тем искренним увлечением, какое только могло быть свойственно его возрасту. И им было интересно слушать друг друга. В рассказах Дорофеева о заводе Николай Рабышко видел как бы совсем уже недалекий свой завтрашний день, а Дорофееву не могли быть безразличны школьные дела товарища — он сам недавно расстался с Клавдией Васильевной.

К пещерам они подошли, когда солнце склонялось к ближнему лесу. Вода, бежавшая по изгибам стены, поблескивала так загадочно, что ребята невольно потянулись к ней. Они вскарабкались по уступам на самую верхнюю точку и расположились на маленькой площадке у ручейка.

— Колька, давай поборемся, — предложил Рабышко.

— Давай, — согласился Дорофеев, хотя знал заранее исход поединка. Рабышко всегда побеждал его. Утешением для Дорофеева служило только одно: он был убежден, что победа доставалась товарищу не столько из-за превосходства его техники, сколько просто потому, что Рабышко был больше и тяжелее.

Николай Рабышко и на этот раз довольно быстро справился с товарищем, но, видимо, чуть перестарался, прижал его к камню так сильно, что Колька дико вскрикнул и зло ударил Рабышко по лицу. Это, разумеется, не было предусмотрено никакими приемами борьбы.

Рабышко отпустил Дорофеева, но разговаривать они уже не хотели и разошлись в разные стороны. Ребята пошли за Дорофеевым — он ведь повзрослее, — и Рабышко остался один блуждать по пещерам.

Тем временем сумерки стали сгущаться. Рабышко, из упрямства и чтобы не подумали, что он хочет идти на мир, удалился от компании слишком далеко. Зашел в глубь пещер, а обратно выбраться не мог. Куда ни свернет, все в сторону от правильной дороги.

Дорофеев был уже с ребятами вблизи Колпина, как вдруг остановился и сказал:

— А что, если Колька заблудится?

Велика была у него злость и обида на товарища, а оставить в беде его он не мог.

Отправив самых маленьких в Колпино, он прихватил с собой трех ребят постарше и вернулся к пещерам.

Николай Рабышко, видимо, сильно перепугался, потому что, когда ребята подходили к пещерам, они слышали, как Рабышко звал на помощь. Но даже по голосу не так-то просто было обнаружить товарища. То эхо направит на неверный путь, то дорога поведет не туда.

Поиски продолжались долго. И только к ночи вся компания вместе с Рабышко вышла от пещер к железнодорожной насыпи.

В воскресенье Николая Рабышко на футбол не пустили.

А на другой день Клавдия Васильевна рассказывала в классе, как Коля Дорофеев выручил товарища из беды. Она не говорила о том, что нельзя без нее ходить в пещеры, не укоряла Рабышко за то, что он доставил своей матери много волнений... Нет, она говорила только о том, что нужно быть смелым, отважным и хорошим товарищем.

* * *

Еще перед войной Николай Дорофеев стал комсоргом листопркатного цеха на Ижорском заводе.

Николай Рабышко к этому времени успел закончить школу и тоже поступил на завод. Рабышко стал вначале подручным слесаря, но вскоре ему доверили самостоятельную работу, и он уже довольно умело вел монтаж катеров, которые строились на Ижорском.

У каждого была своя мечта. Дорофеев имел на своем цеховом счету несколько рационализаторских предложений, правда, простеньких, но начал уже трудиться над серьезным усовершенствованием прокатного стана. Он называл это не иначе как реконструкцией, потому что и в самом деле новая его работа сулила производству большие выгоды. Он сделал много чертежей, пробовал разные варианты, изредка прибегал к помощи своего младшего товарища, которого считал больше к этому подготовленным. Николай Рабышко окончил не семь классов, как Дорофеев, а все десять. А поступив на завод, он начал посещать вечернее отделение строительного института.

Рабышко очень увлекался архитектурой. Часами он мог стоять у какого-нибудь дома и разглядывать его со всех сторон. А в свободное время, которого оставалось совсем мало, он взбирался на леса строящегося в Колпине дома и наблюдал за тем, как укладывают каменщики кирпич, как устанавливаются перекрытия.

Но была у Николая Рабышко еще одна страсть, которую, после того памятного случая в пещерах, он держал втайне от своего друга Кольки. Рабышко всерьез увлекался борьбой. Он освоил уже вольную и французскую, теперь занимался немецкой.

Когда началась война, мальчики решили пойти в армию. Но они и сами не подозревали, что это произойдет так скоро.

Уже через два месяца фашисты стали угрожать Ленинграду. Они вышли к станции Тосно и отсюда двинулись одновременно в двух направлениях — на село Ивановское, к невским порогам, и на станцию Поповка.

На Колпино можно было ожидать удара со стороны Поповки, если она окажется в руках врага, и со стороны города Пушкина, на который, как донесла разведка, гитлеровцы нацелили уже мощный танковый кулак. Удержать Поповку вряд ли удастся, и тогда вражеские войска выйдут на возвышенность Красного Бора, который, как принято говорить у военных, командует над местностью. На холмах расположен и город Пушкин. Как только в Пушкине и в Красном Бору появятся фашистские батареи, они смогут вести прицельный огонь по заводу.

28 августа гитлеровцы заняли Поповку и Красный Бор.

На заводе к этому времени уже сформировался батальон для защиты Колпина. В него вошли ижорские рабочие, инженеры, служащие.

Вступили в батальон и два друга с Заречной улицы, два Николая. Нелегко было расставаться с мечтой о новом прокатном стане, об архитектуре и строительстве кораблей, каких еще не видел мир. Но разве они расставались с мечтой?

Николай Дорофеев записался в батальон вместе со своим мастером Иваном Феоктистовичем Черненко, веселым дядькой с пышными усами, у которого многому научились

молодые ижорские прокатчики. Николай Рабышко познакомился с Черненко позже, уже во время боев.

* * *

На рубеж выходили с предосторожностями, воспользовавшись темнотой, которую сгустили тучи, низко нависшие над землей.

Весь день продолжалось формирование батальона. Собрали все оружие, которое имелось на заводе. В большинстве это были учебные винтовки с отверстиями, просверленными в патроннике. Для боевых стрельб они не годились. Пришлось снова пойти по цехам, чтобы заварить отверстия.

Винтовок на всех не хватало. Раздавали гранаты.

Получили пулеметы. Это уже придавало батальону вполне боевой вид. Для командного состава раздобыли несколько коровинских пистолетов.

Перед выходом на рубеж батальон выстроили на заводском дворе. Воинского обмундирования еще не было, и каждый надел то, что оказалось под руками. Кто в стареньком пиджаке, кто в рабочей фуфайке, кто в синей спецовке. Только один командир, Георгий Вениаминович Водопьянов, был в гимнастерке, сохранившейся с прошлой войны. В зеленых петлицах горели два красных кубика лейтенанта.

Иван Феоктистович Черненко пришел в батальон в старой своей кожанке, надетой прямо на майку. Дни были жаркие, а ночью в траншеях можно и застыть. Кожанка выручит. А вот на ногах — сандалии. Но ничего, оденут же когда-нибудь батальон. Чтобы широкие брюки не стесняли шаг в походе, он заправил их в носки, вытянув резинки наверх. За спиной винтовка, пять гранат за поясом, а под мышкой буханка хлеба.

Скоро наступит ночь, и ижорцы уйдут с завода. В предчувствии этого не каждое сердце могло оставаться спокойным. Приближалась минута расставания с семьями, с заводом, и возбуждение нарастало.

— Боец Рабышко, выйдите из строя! — раздался вдруг громкий и чуть суховатый голос Водопьянова.

Стоявший на правом фланге высокий и широкоплечий юноша с красивым мужественным лицом подошел к командиру.

— Что это вы там за знаки делаете, рукой все машете? — спросил Водопьянов у Рабышко.

— Да это, товарищ лейтенант, мамаше...

— Вижу, — перебил Водопьянов. — А что вы хотите ей сказать?

— Чтобы домой шла, не маялась...

— Пойдите, попрощайтесь, как полагается. Скоро выступать.

Провожать батальон вышло почти все Колпино. Из каждой семьи уходили в батальон отец или сын, или брат.

Откуда-то очень издалека, словно из глубин небесной чащи, послышался приглушенный вой фашистских самолетов. Они шли высоко над облаками. Шли на Ленинград.

Раздалось несколько глухих зенитных выстрелов, яркие огоньки запрыгали по серому куполу — и снова стало тихо.

В лесах, левее Пушкина, вспыхнули огненные языки. Пламя пожара обожгло верхушки деревьев, подпалило край неба. В той стороне не переставая гудела канонада. Бойцы батальона шли неровным строем. Одни молчали, другие, напротив, говорили без умолку. Говорили тихо, хотя в Колпине никто не спал, а противник был еще далеко.

Улица, подходившая к стадиону, была почти вся уже пройдена. Командиры рот попросили провожающих вернуться обратно. попрощались на ходу и, оставшись на обочинах дороги, смотрели вслед батальону, пока он не свернул влево.

— А вы, мамаша, что ж не возвращаетесь?—спросил командир батальона женщину, шедшую рядом с Николаем Рабышко. — Дальше провожать нельзя.

— Это не я вас, а вы меня, дорогие, провожаете, — ответила она и, показывая рукой в темноту, сказала: — Мой дом, вон он — самый крайний в Колпине.

* * *

Не успели ижорцы расположиться в траншеях, вырытых колпинскими женщинами у самой окраины города, как в батальоне был получен приказ принять участие в наступлении на поселок Ям-Ижора, занятый фашистами.

Николай Дорофеев попал в роту под командование молодого формовщика — Сергея Козюченка, которого прежде он не знал на заводе.

Сергей Козюченок, как и многие в батальоне, принадлежал к коренным колпинцам. Отец Сергея был машинистом в бронезакалочной мастерской, но его он помнил плохо. Сергею едва исполнилось семь лет, когда Козюченок-старший ушел в Красную Армию. В последний раз он навестил семью перед тем, как отправиться на защиту Петрограда от Юденича. Больше он домой не возвращался. Товарищи рассказывали потом, что в бою под Гатчиной Федор Козюченок был захвачен в плен, вел себя геройски и повешен по приказу Юденича.

Уже в первые дни пребывания в батальоне Сергей Козюченок стал общим любимцем. Он был всегда бодр и весел, не знал уныния, любил пошутить и, главное, умел заразить своим настроением других. Этому, вероятно, способствовала почти никогда не сходящая с его лица улыбка, ясная, светлая, покорявшая всех.

Операция по захвату узла у Ям-Ижоры была разработана в штабе укрепрайона. Ижорскому батальону предстояло занять северную окраину поселка и двинуться к Московскому шоссе. Чтобы не привлекать внимания гитлеровцев к этой операции, решено было действовать без артиллерийской подготовки. Пятьдесят бойцов батальона и два пулеметных расчета под командованием Водопьянова предприняли наступление в сторону противотанкового рва. Назначенный накануне командиром бронедивизиона Иван Феоктистович Черненко сопровождал пехотинцев на двух бронемашинах «БА-10» и двух полуброневых машинах. На поддержку стрелков вышел и один легкий танк «Т-26».

В четыре часа ночи ижорцы без потерь достигли проволочного заграждения. Но в эту минуту противник внезапно осветил поле ракетами. И сразу слева и справа загрохотали разрывы. Вражеская артиллерия обрушила на ижорцев огонь. По всему переднему краю застучали пулеметы.

Комбат вместе с группой пулеметного расчета шел под прикрытием танка. Они ворвались на кладбище и открыли огонь по противнику. Одна бронемашина ижорцев была подбита. Ее экипаж присоединился к группе, занявшей дзот. Развить наступление не удалось. Гитлеровцы перешли в контратаку, начали отсекал кладбище со стороны реки, обрушили огонь на дзот.

Николай Дорофеев укрылся слева от дзота за высоким бугром. Чуть ли не на самые уши натянул он маленькую примятую кепку, повернув козырьком к затылку, чтобы удобнее было целиться. Ему хорошо была видна дорога, которая вела к дзоту от реки. Прищурился, он то и дело ловил на мушку гитлеровских солдат, подбирившихся к дзоту. Вот упал один, другой... Третий, взмахнув руками, рухнул на землю... Николай проверил запас патронов. Пока хватит, а там и гранаты можно пустить в ход.

Фашисты заметили огонек, вспыхивавший за бугром. Они задумали окружить русского стрелка, стали заходить слева и справа. Дорофеев увидел это, но позиции своей не оставил.

Увидел и Козюченок, что его бойцу угрожает опасность. Козюченок лежал у пулемета. Он быстро повернул пулемет влево и нажал гашетку. Как только несколько солдат упало, остальные стали отходить.

Дорофеев приподнялся из-за бугра, чтобы посмотреть, что происходит вокруг. И в ту же минуту он почувствовал, как что-то сильно ударило в грудь. А потом и земля, и дзот, и деревья у реки, и небо, начинавшее светлеть на горизонте, — все закружилось, поплыло перед глазами.

* * *

Батальон вынужден был отойти на исходный рубеж.

Возвращался из боя и Сергей Козюченко. Он шел с пулеметом, один из всего отделения оставшийся невредимым. Слева от дзота, за бугром, Козюченко увидел юношу в пиджаке и брюках, заправленных в русские сапоги, недвижно лежавшего на земле. Это был Николай Дорофеев.

Козюченко склонился над молодым солдатом. Солдат был мертв. Пуля угодила прямо в сердце.

Козюченко осторожно взвалил Дорофеева на плащ-палатку и потащил к окраине Колпина.

Добравшись до батальона, он достал из верхнего кармана пиджака солдата его комсомольский билет и прочитал громко:

«Комсомольский билет № 04338296. Дорофеев Николай Павлович. Год рождения 1915. Время вступления в комсомол ноябрь 1930 года».

Комсомольский билет был пробит пулей и края его залиты кровью.

* * *

Николай Рабышко не сразу узнал о гибели товарища. За несколько дней до боя он попал в бронедивизион к Ивану Феоктистовичу Черненко и был разлучен с Дорофеевым.

— Водить умеешь? — спросил Черненко.

— Нет.

— Будешь башенным стрелком.

— Так я и стрелять не очень горазд... — смущенно сказал Рабышко.

— Стрелять научишься.

Бронедивизион находился в одном из цехов завода.

Черненко знал, что у Рабышко мать живет на самой окраине Колпина. Иногда с завода он посылал его к командиру батальона. По пути Николай навещал мать.

Она перебралась на кухню, выходящую на восток. А когда Николай приходил к ней, зажигала свечку и шла с ним в комнату, чтобы все было похоже на то, как было раньше.

Иногда по вечерам Черненко собирал молодежь и рассказывал, как воевали в гражданскую войну.

— Вы, конечно, знаете Чонгарскую дивизию? — так начинал он свой рассказ. — Это была боевая дивизия Первой Конной. По многим фронтам гражданской войны пронеслась ее огневая слава. Ходила дивизия на Деникина, была на Польском фронте, неотступно преследовала Врангеля до самого Черного моря. Был я бойцом этой дивизии, а потом и командиром эскадрона. Конь у меня был горячий, кабардинский. Хорошо чувствовал всадника. Только вскочишь, понесется во весь опор. Такую инерцию создает, что хочешь не хочешь, а все поет внутри. Шашка сама в воздухе ходит, только держи. Под Животово столкнулся лицом к лицу с командиром кавалерийского эскадрона белых. У того конь отличный. Порода! А на скаку совсем необыкновенный. Ну и кабардинец не подкачал. Налетели мы друг на друга, шашки наголо. Кабардинец, словно изумленный красотой повстречавшегося коня, остановился, как вкопанный, да так удачно, что острая шашка моя первая опустилась. Белый офицер упал с коня, заливаясь кровью.

В 1920 году на Польском фронте представили Ивана Черненко Михаилу Ивановичу Калинину. Был короткий отдых между боями. Несколько дней стояли конноармейцы в небольшом селе, готовясь к новой артиллерийской атаке. Молодой командир эскадрона явился на вызов в новенькой, недавно полученной кожанке. Блеском своим она успешно спорила с только что начищенными сапогами, в которых, казалось, отражается небо.

Михаил Иванович улыбнулся, глядя на бравого командира, одевшегося, будто на праздник.

— Значит, скоро и победа! — сказал Калинин.— Молодежь гулять хочет.

Черненко смутился, а Калинин взял часы, лежавшие перед ним на столе, и протянул их Ивану Феокистовичу.

— Заслужили, — сказал он при этом.

Эти часы и кожанка всегда напоминают Ивану Феокистовичу о годах его горячей молодости. Часы идут не так точно, как прежде, отслужили свое. Кожанка давно утратила блеск и живет каким-то вторым своим слоем. Но память о тех годах никогда не тускнеет.

В один из вечеров, когда бойцы бронедивизиона сидели возле своих машин, позвонили из штаба батальона. Говорил командир. Голос его звучал так тихо, словно он боялся разбудить кого-то в этот поздний час.

— Пришлите грузовую машину и двух бойцов... Срочно. Пока не посветлело... Поняли?

— Понял, — сказал Черненко.

Он подошел к машинам, оглядел всех спокойным взглядом и остановил свой выбор на экипаже, в состав которого входил Рабышко.

— Отправитесь в штаб батальона... — Черненко посмотрел на небо, которое, казалось, прикрывало темно-синим пологом широко открытые ворота цеха, взглянул на часы и добавил: — Минут через пятнадцать будьте готовы.

Рабышко вышел из цеха на заводский двор. Белые ночи уже отошли, но где-то в небе просачивалась млечная белизна, напоминавшая о недавнем лете. Было тихо, ничто не предвещало боя. «Может быть, в разведку идти, — подумал он. — А впрочем, затишье на войне всегда тревожно...»

Через полчаса выкрашенная в зеленый цвет полуторка понеслась по асфальтовой заводской дорожке. Раскрылись ворота, и машина вырвалась на притихшую пустынную улицу, зашуршала по деревянному настилу моста и вскоре исчезла в ночи.

У землянки штаба батальона к машине вышел Сергей Козюченко.

— Дело, товарищи, не совсем обычное, — сказал он. — Убили нашего солдата. Нужно доставить его на завод. Завтра с почестями проводим в последний Путь.

Николай Рабышко не многих знал на заводе, и ему Как-то не пришло в голову спросить: какого солдата убили? А Козюченко повел их за собой. В стороне от дороги, укрытый в кустарнике, влажном от вечерней росы, лежал на плащ-палатке боец. Руки его были сложены на груди, глаза закрыты. Казалось, он просто устал и прилег отдохнуть. Вечер ведь такой тихий и теплый...

— Хороший был воин и замечательный комсомолец, Николай Дорофеев, — сказал Козюченко, и Рабышко, услышав это, внезапно почувствовал, как хлынула кровь к голове, в ушах зашумело и противная тяжесть стала клонить к земле.

— Колька!.. Дорофеев Колька... — прошептал он, но никто не услышал этого.

— Поднимайте его осторожно, товарищи, — говорил Козюченко, раздвигая кустарник. — Вот так...

Вскоре машина тронулась в обратный путь. Рабышко сидел рядом с убитым товарищем, слегка придерживая его рукой, а сам думал о том, как еще совсем недавно бегали они по этой улице, как сражались за булыжные островки, как ходили в пещеры...

Утром пришли бойцы из роты, в которой служил Николай Дорофеев. У могилы был дан залп из винтовок. Холмик прикрыли цветами, а в центре поставили красную пирамиду, увенчанную пятиконечной звездой.

В тот же день броневики вышли к Московской Славянке. Они получили задание подавить огневые точки противника. Николай Рабышко стоял у пулемета и, чуть сощурив глаза, пристально вглядывался в желтевшую перед ним насыпь вражеской траншеи. Ему все казалось, что вот сейчас увидит он того самого фашистского солдата, который убил его друга Николая Дорофеева. Но он ничего не видел, кроме поблескивавших в дзотах оранжевых огоньков.

Броневики по команде Черненко развернули строй и двинулись к вражескому переднему краю. Небольшая речушка змеилась по полю, преграждая путь. Взяли правее; там берег реки совсем приближался к траншеям противника. Шли вдоль реки и стреляли по дзотам.

В тот день гитлеровцы предприняли еще одну попытку атаковать наш передний край. Николай Рабышко не выходил из боя до поздней ночи.

— Ишь, а говорил, стрелять не умеешь, — хитро заметил Черненко.

— Так я ж и научился только по дороге к Московской Славянке...

— Добрый, значит, будешь солдат!

Эта похвала командира долго еще звучала в ушах Николая Рабышко, пока поздней ночью не сморил его сон на жесткой солдатской койке.

... Наступление гитлеровских войск на Ленинград было сорвано на всех участках фронта. Ижорцы отбили атаки фашистов на Колпино, отстояли свой завод. Скоро разведка донесла, что противник закапывает танки в землю, превращая их в неподвижные огневые точки.

* * *

В годы войны мне часто приходилось бывать в Колпине.

В один из дней ноября 1941 года я шел по Заречной улице по направлению к стадиону, за которым начинались землянки Ижорского батальона. Колпино сильно пострадало за эти первые месяцы войны. Там, где недавно стояли дома, торчали теперь из земли кирпичные трубы. На пустырях чернели воронки, беспорядочные глыбы земли громоздились над ними. День был ясный, но в небе плавала мутная пелена от . ближних пожарищ. Пахло гарью.

В этот час Заречная улица была совсем пустынна. Когда я перешел через мост, я увидел только одинокую фигуру солдата, удалявшегося к стадиону, и мальчика лет семи — восьми, игравшего возле одного из уцелевших на улице домов. Дом был заколочен досками и казался заброшенным.

— Ты как забрел сюда? — спросил я мальчика, поравнявшись с ним.

Мальчик посмотрел на меня непонимающе. Потом он сказал, не прерывая игры:

— Я живу здесь.

— А как тебя зовут?

— Володя Игнатъев.

— Где же ты живешь, Володя? — допытывался я. Мальчик показал рукой на заколоченный дом. Все здесь было удивительно. И дом без окон и дверей, в котором живут люди, и мальчик, весело играющий на улице, которая была уже не улицей, а фронтовой дорогой.

Необычность этой встречи была подчеркнута гулким разрывом снаряда, упавшего на другом конце улицы. Я, признаться, насторожился и сделал невольное движение в сторону. Мальчик даже не вздрогнул. Он привык к ежедневным обстрелам, не испытывал страха и пренебрегал необходимыми мерами предосторожности. С некоторым безразличием он обернулся на раскиданные по краям дороги камни булыжного островка и снова запрыгал по неровно расчерченным квадратам.

— Ты бы шел в дом. Видишь, обстрел начинается, — сказал я.

— Скучно дома... Мама на заводе... А здесь...

— Что здесь? Какое же здесь веселье?

— Здесь народу много. Каждый подойдет, что-нибудь спросит... Наши ребята живут возле завода, а я здесь один... Интересно... — он посмотрел на меня, и я увидел хитринку в его взгляде.

— Что интересно? — поспешил я с вопросом.

— А то, что дорога эта фронтовая... По ней только военные ходят... Даже мальчиков из школы матери ко мне не пускают. А мы здесь живем...

— Да, это действительно не совсем обычно, — заметил я. — А тебе здесь не страшно?

— Николаю Дорофееву было страшнее. Он и то не струсил, — ответил мальчик.

— Николаю Дорофееву? А ты откуда о нем знаешь?

— В школе учительница рассказывала, Клавдия Васильевна.

Это было еще одно необыкновенное открытие этого дня, и я не мог скрыть своего удивления:

— Как, разве Клавдия Васильевна здесь?

— А где же ей быть? Она ведь учительница.

— Да, верно, — сказал я и сразу представил себе старую, седую учительницу среди таких же подростков, как мой новый знакомый. В классе колпинской школы, где все окна заложены кирпичом и даже днем тускло горят керосиновые фонари и свечи, она рассказывает им о своих учениках. И все это происходит в километре от линии фронта, под жестоким обстрелом и непрекращающимися налетами авиации. Разве можно было не поражаться этому, хотя война к тому времени принесла уже много удивительных историй?

— Что же рассказывала Клавдия Васильевна о Дорофееве?

— Про комсомольский билет... — сказал мой собеседник и посмотрел на меня выжидающе: не расскажу ли я что-нибудь еще об этом.

Я знал историю Николая Дорофеева. Я хорошо помнил этого юношу с Заречной улицы. Но рассказывать о нем тогда было не так-то легко.

* * *

Прошло много лет, но как живые стоят передо мной эти колпинские подростки. Вот и сейчас, перебирая в памяти самые примечательные встречи военных лет, я решил рассказать о том, как жили и воевали в те дни ученики Клавдии Васильевны Тимофеевой, мальчики с Заречной улицы.



Е. Вечтомова

1500 пожарных

Недалеко от фабрики растянулся веселый рабочий городок. Маленькие домики с палисадниками. Уже который раз фашистские самолеты пачками сбрасывали сюда зажигательные бомбы. Бомбы сыпались кругом: в любую минуту, как спичечные коробки, могли вспыхнуть деревянные крыши.

Но этот налет был особенно жестокий. Это произошло, как обычно, ночью. Не успела занять свои места дежурная пожарная команда, как начался ураганный артиллерийский обстрел района.

Из барака, расположенного в стороне, бежали юноши и девушки, — рота комсомольского противопожарного полка.

Политрук роты Авербух на ходу кричал своим бойцам:

— Занимайте крыши! Хладнокровно! Хладнокровно!

С крыши соседнего барака летели горящие головни. Огонь подобрался к складам. Бойцы рассыпались по улице: одни взбирались на крыши, другие выстраивались внизу, — от водоразбора быстро по живой цепочке передавали ведра с водой.

Работала совсем зеленая молодежь — школьники, ремесленники. Горящие головни, искры, падающие на крыши, моментально заливались водой, затапывались.

Становилось все жарче.

Катя Волгина одной из последних выбежала из барака. Торопливо одеваясь, она оглянулась — не забыть бы что-нибудь нужное. В маленькой комнате был привычный порядок. В углу на стене, украшенная большим голубым бантом, висела гитара. Новые туфли стояли под столом. «Эх, не убрала!» — подумала Катя, но останавливаться было некогда, и она махнула рукой: «потом!».

Выбежав в темноту улицы, она сразу услышала голос политрука и кинулась к полыхающему огнем ближайшему дому. Заняла свое место в цепи. Передавая полное воды ведро соседке, Катя взглянула на ее ноги. Чулки дымились! Вот-вот они затлеют от близости огня. Катя плеснула водой на эти тоненькие ноги и передала ведро дальше.

Работали молча. Тем, кто находился на крыше, было нестерпимо жарко, но все были поглощены одной мыслью: отстоять рабочие домики.

— Девушки! Что делается! — услышали все сквозь шум огня крик комсомолки Васильевой и даже замерли на секунду.

Комсомольский барак! Огонь перекинулся туда, и никто не мог пойти залить свирепеющее пламя. Все работали здесь, в городке.

— Там наше все! — крикнула Макарова.

— Ясно — всё; ну, значит, пускай... — тряхнула головой Волгина. — Мне гитару жалко... — и сама усмехнулась. Вдруг вспомнила новые туфли — серые с белой отделкой, на граненом каблучке. Она давно мечтала о таких и вот, наконец, купила.

— А, черт с ними! — Катя вздохнула, чувствуя, что кофточка на ней начинает дымиться. Она отстранила выбившуюся из сил соседку, заняла ее место. Кто-то плеснул на нее водой.

Острая молния вырвалась из окна барака. Видимо, пламя, прорвавшееся через крышу, давно бродило и бушевало внутри, а теперь нашло выход.

Все было кончено с комсомольским баракком. Искры падали реже и реже. Никто из бойцов не тронулся с места. Живая цепь продолжала работать. Бойцы не отдали огню фабрику и склады. Рабочий городок, весь в черных следах копоти, сажи, в потеках воды, стоял невредимым среди потоптанных палисадников. Отбили! Пахло мокрой землей, дымом. Снаряды ложились где-то в стороне. И, странное дело, только теперь пожарники стали прислушиваться. Еще несколько минут назад они просто не замечали, как грохотали разрывы и вздымались вверх столбы земли.

Прошла еще минута. Где-то вдали грохнул последний разрыв, и сразу наступила тишина. Обстрел кончился.

Вдоль улицы шел усталый командир роты. Лицо его было закопчено, с плеч свисали лохмотья порванного и прожженного комбинезона. По одному к командиру присоединялись бойцы.

— Ну что, ребята, на покой? — пошутил он.

— А куда?

Возвращаться было некуда. От комсомольского барака остались одни обгорелые трубы.

— Приказ: голов не вешать! — крикнул бойцам командир, и все направились к фабрике.

* * *

В дни героической обороны Ленинград видел на своих улицах бойцов всех родов оружия. И среди них были бойцы комсомольского противопожарного полка. Его создали по инициативе молодых защитников. Зимой 1941/42 года, когда огонь был одним из самых страшных врагов города, лишенного воды, комсомольцы противопожарного полка самоотверженно отстаивали родной Ленинград. Пятнадцати-шестнадцатилетние подростки — мальчики и девочки — в комбинезонах и касках взбирались на грозившие обвалом крыши, сбивали огонь, бросались в пламя, в удушающий дым, чтобы спасти людей, вынести из разрушенных зданий ребятшек.

Осенью 1942 года мы сидели с секретарем комсомольской организации полка, Янишевской. От этой маленькой русой девочки веяло силой и твердостью. Но голос у нее был негромок. Сказывалось истощение.

— Зимой с комиссаром мы обязательно каждый день обходили наши подразделения. А они были в разных районах города. Вот мы и ходили пешком — с Выборгской к Нарвским воротам, из Московского — на Петроградскую сторону. Ребят мы перевели на казарменное положение. Это всех объединило. Потом, надо было беречь энергию. Вместе жили организованной. А работать становилось все трудней. Ребята слабели с каждым днем. И вот в те дни комсомольцы решили наложить «табу» на такие слова, как «еда», «усталость», «болезнь»... Многие умудрялись даже учебу продолжать.

Был у нас такой комсомолец Быховский. Лет семнадцати. Длиннуший, худуший. В самое голодное и холодное время каждую свободную минуту садился за книги. Все, бывало, усядутся вокруг печурки, хлеб сушат, греются, а наш Быховский положит свои сухарики, зачитается, забудет, они у него обязательно и сгорят. «Мамаша» за ним стала наблюдать. Так у нас комсомолку Басалаеву прозвали, старшину. Уж очень она умела за каждым присмотреть, помочь, поддержать бодрое настроение. Смотрела, как бы ребята не «прилипли» к печурке. Это страшное дело было. Держится-держится человек, а потом силы кончатся, и он все жметя к печурке, и ничем его не заинтересовать, не вытащить на холод. Такие и умирали. «Мамаша» не давала им киснуть, дрова заставляла пилить, за водой посылала. Сходить за водой была целая история. Да вы ведь знаете... А то запоет песню, велит всем подтягивать. В общем, каждый был у нее на виду.

А Быховский, между прочим, весной экстерном школу окончил и за отличную работу на пожарах именные часы получил.

* * *

Это было в ночь, когда горели «американские горы» в саду Госнардома на Петроградской стороне. Бойцов вызывали уже два или три раза. Они проработали на пожарах часов четырнадцать. До поздней ночи под обстрелом и бомбежкой в тридцатиградусный мороз. Город был освещен розовым пламенем пожаров и виден как на ладони. Ноги у пожарников еле двигались. Еле-еле добрались до казармы. Даже есть не хотелось. Одна мысль — спать. Согреться и спать, спать...

В это время в комнату вошел командир. — Во что бы то ни стало нужны пять человек. Знаю, вы устали. Назначать не буду. Пусть встанет тот, кто сам чувствует, что сможет работать.

Некоторые уже свалились и заснули, как были — в пальто. Но кое-кто поднялся. Больше пяти. Собираться было нечего. Они вышли на улицу шатаясь. Руки с трудом поднимали инструмент. Тут же шла Маша Сургучева, маленькая девушка в берете, бледная, без кровинки в лице.

Зло работали молодые бойцы. Пришлось раскапывать обвал. Стукнет тяжелым ломом Маша по груде камней, навалится на него, уж неизвестно какой силой поднимет кусок разбитой стены. Потом осторожно-осторожно разбирает свой участок. А слезы усталости, злобы стынут на ресницах. Казалось, уже руки не слушаются. Но руки не останавливались. Вдруг под обломками живые люди?

Не сердись, Маша, Крепче обними, Жизнь прекрасна наша, Солнечные дни.

Кто это? Смеются над ней, что ли? Песенка все слышнее. Вот стихла. И опять...

Не сердись, Маша...

«С ума я, что ли, схожу? Надо ребятам сказать». Даже жарко ей стало. Она стянула с головы платок, покрывавший беретик.

Одна из девушек тоже прервала работу, оглянулась:

— Ребята, я что-то запсиховала, кажется... мне пение чудится.

— И мне...

Подшли другие бойцы. Прислушались. Нет песни.

Начнут работать — опять поет задорный голос. Совсем тут, рядом, как из-под земли. Да из-под земли же! Конечно! Стали быстрее раскапывать. Откуда силы взялись. Забыли, что двадцатый час работают. А голос слышнее, слышнее.

Что же оказалось? В углу первого этажа, уцелевшего под развалинами, сидели на обломке дивана две девушки, а перед ними играл патефон. — Мы,— говорят, — давно слышим, что нас откапывают, мы уж охрипли, кричавши, голоса не хватает. Наткнулись на эту машинку. Как раз на ней пластинка была. Ну, машинка знай накручивает:

Не сердись, Маша, Крепче обними...

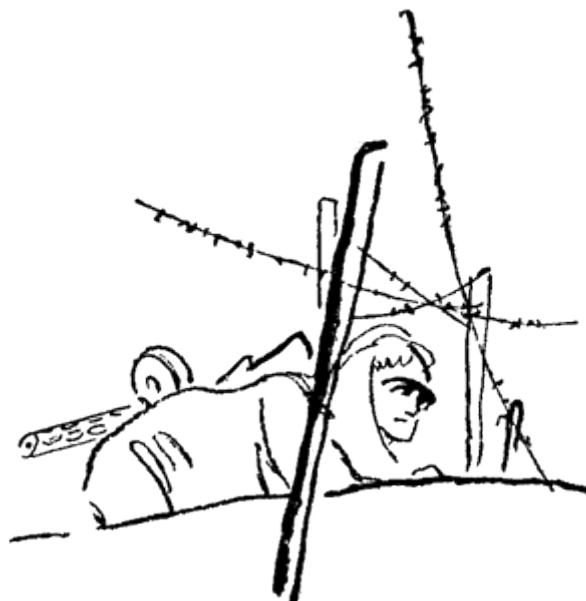
Комсомолки бросились обнимать девушек. Вот молодцы, не растерялись в такую минуту!

* * *

За один год — самый тяжелый для Ленинграда — бойцы комсомольского противопожарного полка потушили немало пожаров, спасли от гибели сотни людей. На счету полка тысячи потушенных зажигательных бомб.

Помощь комсомольцев городу не ограничивалась борьбой с огнем. Полк строил оборонительные рубежи, оборудовал бомбоубежища, расчищал улицы. Комсомольцы, ставшие, когда это понадобилось, пожарниками, учили население бороться с огнем, чистить дымоходы.

Вторую годовщину полка бойцы встречали уже в дремучих Тихвинских лесах. Городу было нужно топливо, и верные сыновья и дочери комсомола снова сменили профессию. Они стали лесорубами. Там, где нужнее умелые руки, неиссякаемая энергия, комсомольская стойкость и преданность Родине, там — наша боевая молодежь. И так во все времена.



М. Ланской

В новогоднюю ночь

Свет погас неожиданно. Поезд словно вошел в туннель. Отчетливее стали все звуки — перестук колес, дыхание паровоза, ритмические толчки и скрипы вагонов. Пассажиры молчали. Все знали, что поезд вошел в опасную зону. Об этом не хотелось говорить, а старая тема беседы угасла вместе со светом.

Поезд шел из Москвы в Ленинград и преодолевал сейчас узенькую полоску земли, отвоеванную год назад в дни боев за прорыв блокады.

Гитлеровские пушки были в нескольких километрах. Между ними и поездом висела завеса — кромешная тьма ночи. Поезд проходил сквозь черную ткань. Попытаться нащупать его вслепую снарядами было делом нелегким. Гитлеровцы не стреляли.

Молодая женщина с погонами военного врача, сидевшая у окна, огорченно протянула:

— Ну, что это такое... Кто же Новый год в темноте встречает...

— В темноте, да не в обиде, — угрюмо сострил один из морских офицеров, сидевших напротив.

С верхней полки, где, беспробудно спал четвертый пассажир, неожиданно покотился радостный, мальчишеский хохоток. Следом за ним послышался скрип пружин, и все еще смеющийся голос добродушно предупредил:

— Поберегитесь, граждане, сейчас буду пикировать.

Заполнив собой чуть ли не все купе, пассажир легко двигался в темноте и, подняв шторку окна, долго вглядывался в мутную синеву ночи.

— Чему вы смеетесь? — недовольно спросила женщина.

— Простите, это я про себя. Вы напомнили мне, что я второй раз подряд на том же месте в темноте Новый год встречаю.

— Как это второй раз? В прошлом году на этом месте фашисты были.

— Были. С ними и встречал... Если товарищи не возражают, я могу рассказать.

Дружные восклицания убедили веселого пассажира, что его готовы слушать.

— Так вот, произошло это ровно триста шестьдесят пять дней назад. И ночь была под стать нынешней — сырость, муть. Полк, в котором я служил, стоял неподалеку от того места, где мы сейчас с вами едем. А кругом тут всё гитлеровцы занимали.

У меня лично в последние дни того старого года хлопот и неприятностей было столько, что на целый батальон неудачников хватало бы. Служил я в разведке. Поскольку дело прошлое, могу сказать, что в то время войска наши готовились к боям. Представляете себе обстановку: каждый день начальство наезжает, одно другого выше, и каждый данных о противнике требует. А на нашем участке, как назло, которую неделю ни одного пленного.

Уж мы и так, и этак, — не дается враг. Отборные люди ходили — ничего. В лучшем случае документы принесут и в доказательство своего усердия убитого фашиста притащут. А «языка» нет и нет. Начальнику моему командование житья не дает. А он, как водится, на мне душу отводит.

Злость меня разобрала. Как-то во время одного «теплого» разговора, когда меня разными словами утюжили, я возьми и брякни. «Ладно, — говорю, — к Новому году я вам «языка» доставлю. Слово офицера». — Повернулся и вышел.

Знаете, как бывает, — ляпнешь, а потом ходишь, локти кусаешь. Так и я, — прикидывал по-всякому, — ничего путного придумать не могу. Единственное решение, которое я смог принять, это самому живым без пленного не возвращаться. Сами понимаете, что решение не из мудрых.

Потом у меня вдруг как будто в голове форточку открыли, — продуло и прояснилось. Сначала пришла такая мысль: «Почему это я обещал пленного к Новому году? Откуда взялся этот Новый год?» — И вспомнился мне разговор с Курдюмовым.

Был у нас такой старшина, комсорг Вася Курдюмов. Земляки мы с ним оказались по Васильевскому острову. Сам он слесарем на Балтийском заводе работал, а за войну великолепнейшим разведчиком стал. Ну просто редкого таланта был человек. И руки разведчика, и нервы, и особенно — голова. Вначале я к нему относился без уважения, — фантазером считал. Уж очень он меня разными проектами донимал.

То он сколачивал комсомольскую бригаду для похищения живого немецкого фельдмаршала, — приставал ко мне, просил разрешения и даже мешок показывал, в котором того фельдмаршала должны были доставить. То конструировал какой-то агрегат наподобие пылесоса. По его идее хобот этой машины должен был с расстояния в двести метров всасывать зазевавшихся врагов и доставлять их прямо в наш штаб.

Но фантазии фантазиями, а в трудном деле был он человеком незаменимым. Хладнокровный, твердый и товарищ верный. Зато и любили его солдаты, особенно кто помоложе, беззаветно. Не было такой операции, на которую не пошли бы с ним с верой в успех. Только с инструктором политотдела не налаживался у него контакт. А все из-за того, что комсомольскую свою канцелярию держал Курдюмов в голове и никаких бумажек не заводил. О каждом своем комсомольце все досконально знал и часами мог рассказывать, а простую цифру для отчета клещами из него не вытянешь.

Так вот, вспомнил я один разговор с Курдюмовым. Излагал он очередной проект поимки «языка», связанный с наступающим Новым годом. Я тогда отмахнулся, а на этот раз взглянул как бы со стороны и решил, что, пожалуй, есть в нем крупинцы здравого смысла.

Зашел к нему в землянку и с ходу говорю:

— Докладывай подробнее. Без «языка» больше нельзя. И мне позор, и комсомольцам твоим позор!

В общем, обсудили, договорились и стали готовиться.

Двинулись мы в начале одиннадцатого, как раз под Новый год. Пошли обычным порядком. По разминированному проходу подобрались к проволоке, подперли рогаточками, перекусили проволоку в четырех местах.

Курдюмов сразу шмыгнул в щель — и в сторону, по-пластунски. Я за ним. За мной Сабленко, тоже лихой разведчик; как раз перед этой операцией мы его в комсомол принимали. А за нами, только не следом, а напрямки, вспомогательная группа лейтенанта Гаркуши сунулась.

Как мы и ожидали, сразу же завертелась немецкая карусель: ракеты, треск, грохот. Пули, как бешеные, одна другую нагоняют, по снегу чиркают. Лежу и думаю: если шальная дура не зацепит, то все идет по плану.

Группа Гаркуши подалась назад и открыла ответный огонь. Это должно было означать: извиняемся, мол, провести вас не удалось и потому отходим с барабанным боем. Для большего шума Гаркушу еще наши минометы поддержали.

Пока вся эта музыка, как по нотам, разыгрывалась, мы с Курдюмовым и Сабленко по сантиметру все дальше в сторону забираем. Халаты у нас новые, широкие, раскинешь полы, — с двух шагов от сугроба не отличишь.

Минут через двадцать все стихло. Гаркуша залег неподалеку и молчит. Гитлеровцы успокоились, — обычная тревога... Только изредка ракета взвывается, заставит нас «присохнуть», и опять темно, ни звука. Сориентировались мы и полезли на рожон...

Весь смысл курдюмовского проекта был в отъявленной дерзости. Представьте себе голую, как ладонь, местность, а в центре бугорок вроде холмика, и на нем пулеметная точка. Ядовитая была точка. Гитлеровцы ее снежным валиком обнесли, ходами сообщения к блиндажам привязали и вели отсюда огонь чуть ли не на триста шестьдесят градусов.

На нашем участке более неприступной точки, пожалуй, и не было. И фашисты так считали. Только сдуру можно было сунуться на верную смерть. Вот в этом и увидел славный наш комсорг Курдюмов залог победы. К тому же правильно рассчитал, что встреча Нового года еще больше притупит бдительность врага. Так оно и вышло.

О точке нам еще было известно, что на ней неотлучно дежурят двое. А когда они сменяются и далеко ли остальной гарнизон расположен, понятия мы не имели. Поэтому заранее условились, что у гнезда располземся в стороны, возьмем его в клещи и будем действовать самостоятельно, в зависимости от обстоятельств.

Подползли к самому валику. Курдюмов на меня смотрит. Киваю ему головой и сам ползу вправо. Сабленко на всякий случай в центре остается с гранатами наготове.

Долго ли полз, не знаю. Вдруг слышу немецкие слова совсем рядом, будто у самого уха. Приподнялся на локте, вытянул шею, гляжу — подо мной траншейка. Влево, чуть поодаль — просторная площадка, ниши с козырьками и пулемет на укороченной зенитной турели. Один вояка рядом с пулеметом стоит, а второй — в двух шагах от меня нагнулся и что-то копает.

Не успел я сообразить, что делать, как второй гитлеровец поворачивает ко мне голову и прямо в лицо смотрит. Я как лежал, вытянув шею, так и примерз. Чувствую, сердце куда-то провалилось и во рту сушь.

Сколько мы так смотрели друг на друга, не знаю. Мне казалось — час, а вероятнее всего — полмига. Потом он поднимает полную лопату со снегом и таким небрежным движением — шварк мне в ноздри. Я ни с места, даже глаза не прикрыл. Соображаю: раз в меня снегом швыряет, как в пустое место, — значит, либо не разобрал в темноте, либо решил, что померещилось...

А я действительно лежу, как обрубок, и не дышу. В меня в ту минуту можно было горячими угольями швырять, не то что снегом. А пулеметчик в азарт вошел, лопаткой по траншейке орудует, снег выгребает, и все в меня. Залепил он мне и нос, и рот. Ах ты, — думаю, — черт неудобный! Ты меня так и похоронить можешь. А глаз с него не свожу.

Вижу, совсем он подо мной, — слышу, как пыхтит. Только подумал, что пора прыгать, — с площадки хрип донесся. И мой «подопечный» услышал. Но я ему разогнуться не дал. На спину свалился, морду в снег и для прочности коленкой прижал.

Через минуту рядом со мной был Курдюмов. Принял он у меня пленного, сунул ему в рот заготовленную портянку, перевязал руки и смотрит на меня, улыбается. Все так быстро и ловко провернулось, что мы даже растерялись. Стоим и улыбаемся друг другу, как влюбленные.

— А как твой, — спрашиваю, — жив?

— Целенький, товарищ лейтенант. Свойский мужик,— сразу руки вверх и вроде обрадовался,— лицом выражает: «Я, мол, к вам всей душой».

— Тем лучше,— говорю, — больше расскажет.

Подполз Сабленко. Вручил я ему пленного и приказываю: «Тащи!» А Сабленко парень здоровый,— быка утащит, не крякнет. Взял гитлеровца, полой халата прикрыл и подался к нашей проволоке.

— Пойдем к пулемету, — говорю Курдюмову, — заберем второго.

И чувствую, что Курдюмов заскучал, сам- в себя ушел, как всегда, когда новый проект обдумывает.

Подошли мы к пулемету. Вижу, пленный сидит со связанными руками и ногами и с такой же курдюмовской портянкой во рту.

Вдруг Курдюмов шепотом спрашивает:

— Товарищ лейтенант, а который час пошел? Взглянул — без двадцати двенадцать.

— Выходит, мы к Новому году опаздываем.

— Выходит, — говорю и уже чувствую, что Курдюмов о чем-то просить будет. — Чего тебе?

— Хорошо бы фашистов поздравить, — отвечает и так умоляюще на меня смотрит. — А то как-то неудобно, пришли — ушли, никому ни слова.

Я Курдюмова понимал. Несмотря на удачу, и меня злость разбирала, что приходится Новый год встречать в темноте, на холоде, под открытым небом, да еще вдали от друзей-товарищей.

Посмотрел я на пленного и, сам еще не зная, на что решусь, говорю Курдюмову:

— Вытащи-ка из него кляп.

Пленный от радости щелкнул челюстями и действительно смотрит не злобно, а скорее заискивающе.

А я, нужно признаться, в средней школе когда учился, с немецким языком на ножах был. От одних звуков вся лень просыпалась. Поэтому, кроме «ейн, цвей, драй», ничего и не унес. А на фронте хотя жалеть было поздно, я все же на допросах и у переводчиков кой-чему нахватался.

Поэтому без всяких спряжений и склонений спрашиваю у пленного, где, мол, ваши офицеры Новый год встречают.

Он понимающе головой закивал и толково так объяснил. Понял я, что встреча состоится в блиндаже командира роты, что приехали гости из полка и все уже в сборе.

Выясняю дальше. Ближайшая землянка с солдатами метрах в сорока, за первым поворотом хода сообщения. Сменять пулеметчиков придут в два часа.

— Хорошо! Молодец!—хлопаю его по плечу и приказываю Курдюмову:

— Разворачивай пулемет и бери на прицел выход из землянки. Я скоро вернусь.

Курдюмов уцепился в меня и чуть не плачет.

— Товарищ лейтенант, разрешьте мне. Мое это дело. Не пущу я вас. Лучше уж так пойдем.

На часах без десяти. Спорить некогда.

— Ладно, бери его шинель, надень и бегом, будто с поручением. Поздравь — и назад.

Остался я на площадке один. Холодно, ветер пронзительный. Взгрустнулось мне, и стали меня сомнения одолевать. Понял я, что поступил по-мальчишески, что зря пошел на дурацкую затею, и Курдюмова и себя под риск поставил.

Стою у пулемета и себя ругаю. Гляжу на часы — без двух минут... До чего же медленно время в таких случаях тянется! Кажется, час еще прождал, смотрю — без одной... Пленный сидит,

глазами в меня уставился и желваками двигает, будто курдюмовскую портянку пережевывает. И смех, и досада меня разбирают. Ну, думаю, и компанию мне бог послал ради Нового года.

Слышу взрыв, а за ним второй. Так только наши противотанковые рвутся. Потом короткая минута тишины — и началось... Полетели ракеты, потянулись трассирующие пули, шум, гам.

Из землянки выскочили солдаты. Я их встретил длинной очередью. Они сначала не сообразили, толкают друг друга, а я строчу и приговариваю: «С Новым годом! С Новым годом!» Опомнились они, кинулись назад.

Вижу, Курдюмов бежит. Лицо сияющее. И меня азарт захлестывает. Но все же понимаю, что пора уходить. Беру ракетницу и спрашиваю у своего немца:

«Направление огня — красная?» Показывает два пальца.

Выпускаю одну за другой две ракеты в сторону взорванного блиндажа. По трассирующим пулям вижу, что пулеметы перенесли огонь туда. Просвистели мины. Все в порядке. Теперь, пока они разберутся, кто, куда и почему стреляет, мы будем далеко.

Захватили мы пленного, перевалили через проволоку, пересекли минное поле, и только когда были на нейтралке, гитлеровцы открыли нам вслед ураганный огонь. Залегли мы в канавке и лежали долго.

Курдюмов тем временем рассказал мне, как он фашистских офицеров с Новым годом поздравил.

Блиндаж он отыскал в последнюю минуту. Когда глянул в окошко, все уже стояли с поднятыми стопками и что-то хором пели под радио. Потом поднесли стопки к губам. Пока пили, Курдюмов вышиб стеклышко, крикнул: «Закусите!» — и спустил им гранату. Вторую на всякий случай бросил к дверям.

Посмеялись мы. Глядя на нас, и пленный улыбнулся. Подождали еще немного, пока тише стало, и отправились домой.

А еще через две недели мы уже навсегда вышибали отсюда гитлеровцев...

Снова был я в этих местах проездом весной. Остановил машину, пошел искать памятную площадку, траншейку. Ничего не нашел. Все уже перекопано. На том месте, где Курдюмов фашистов поздравлял, путейцы укладывали шпалы вот этой самой дороги, по которой мы едем.

... Рассказчик замолчал. И он же первый прервал наступившую тишину.

— Что ж, товарищи, Новый год через минуту. Пиво из буфета принесли, пора наливать. Попросим нашего доктора быть хозяйкой стола.

Четыре стакана со звоном встретились в темноте. Морской офицер взволнованно произнес тост:

— Выпьем за эту дорогу и за всех, кто своей грудью отбивал ее у врага. С Новым годом, товарищи! С новыми победами!

Свет вспыхнул так же неожиданно, как и погас. Засияла шляпка каждого шурупа. Ослепительные золотые нити потянулись от ордена Александра Невского, украшавшего грудь пассажира с верхней полки.

Никто не удивился свету. Запрокинув головы и прищурив глаза, четыре человека медленно тянули душистое московское пиво.



В. Розов

Снайпер Дьяченко

I

Когда Федор Трофимович прислал мне приглашение на новоселье, я принял его с радостью. И вовсе не потому, что представлялся случай весело провести время. Мне очень хотелось познакомиться с семьей старого фронтового друга.

И вот я вошел в его новую квартиру. Невысокого роста, коренастый, с Золотой Звездой на груди, Дьяченко стоял передо мной такой же, как много лет назад. Ему уже за сорок, но выглядит он значительно моложе.

— Прошу, — произнес он с украинским акцентом, — познакомься: моя жена — Екатерина Ивановна, а это наследницы.

Сероглазые, чистенькие девочки застенчиво улыбались, называя по очереди свои имена: первой представилась старшая — шестиклассница Галина, затем назвала себя Наташа, ученица пятого класса, а самая маленькая — второклассница — сказала, что зовут ее Ольгой и что она меня знает.

— Откуда же ты меня знаешь?

— У папы много ваших снимков, когда вы еще военным были.

Екатерина Ивановна пригласила нас к столу. Раздался веселый звон посуды, и гости сразу приступили к делу. Недостатков в тостах не было. Да и понятно, фронтовым друзьям всегда есть что вспомнить.

Кто-то затянул песню; ее подхватил хозяин дома, а затем все три девочки, и мы, совсем неожиданно, услышали чудесные голоса. Мне известно было, что Федор Трофимович, большой знаток и любитель музыки, когда-то учился играть на скрипке; ну, а лучшего запевалы, чем он, у нас в полку не было.

Песня сменялась песней, и трудно было сказать, какая из них больше волновала. Но вот хозяин дома поднялся и сказал:

— А теперь фронтовую.

— «Землянку»?

— Давайте «Землянку». Добрая песня.

И Федор Трофимович запел. Запел так, что понесла нас эта песня вновь по фронтовым дорогам, траншеям, окопам, землянкам. Мы снова увидели молодого паренька — комсомольца

Федю Дьяченко, в пилотке, в потемневшей от пыли и пота гимнастерке, с неразлучной снайперской винтовкой, лихого, бесстрашного истребителя фашистов, чье имя приводило в трепет гитлеровских бандитов.

Вспомнилась первая блокадная весна. Она наступила как-то сразу, почти внезапно. Еще вчера бушевала снежная метель, безжалостно дули северные ветры, свирепствовал мороз, а тут вдруг за одну ночь все успокоилось. Утром выглянуло солнышко, под снежными сугробами заговорили ручейки, а в голубом безоблачном небе закружились первые птицы.

— Весна, — радуясь солнечному дню, сказал командир полка. — Скоро травка зазеленеет!

Весну ждали с такой надеждой, с какой ждут спасения люди, терпящие бедствие в море. Шел восьмой месяц блокады, суровая зима унесла много жизней. Оставшиеся только и надеялись на весну. Сойдут снега, все вокруг оживет и первая травка-спасительница станет самой дорогой для человека.

После многодневных боев наш стрелковый полк вывели наконец на отдых, и командир полка, уже не молодой человек с седыми висками и глубокими морщинами на лбу, мог позволить себе чуточку полюбоваться весенним днем и немного помечтать. Перед глазами вставали дети, жена. Где они? Что с ними? Уж который месяц он ничего о них не знал.

Нахлынувшие мысли прервал неожиданно появившийся лейтенант.

— Пополнение прибыло, товарищ подполковник. Куда прикажете вести?

— Кормили?

— Так точно!

— Прикажете строить.

По всему видно было, что новое пополнение прибыло с «Большой земли»: все, как на подбор, упитаны, розовощеки, в новом обмундировании. Такие на Ленинградском фронте давно не встречались.

После краткой речи, в которой рассказывалось о боевом пути полка, подполковник стал обходить строй. На левом фланге у самого крайнего, совсем молоденького солдата он остановился.

— Что же ты, сынок, ростом подкачал? Или кормили тебя в детстве мало?

Стушевался поначалу новобранец, покраснел, но потом воспрянул духом и с ходу выпалил:

— Да я недавно вот с эту березу был. За дорогу малость поизносился...

Подполковник рассмеялся. Ему понравилась находчивость бойца. Всматриваясь в его умные глаза, сказал:

— А ты, брат, сила.

Прозвучала команда «разойтись», и повисли над заснеженной поляной клубки махорочного дыма. Курили все — и курящие и некурящие. Только левофланговый, присев на старый пенек, смотрел куда-то ввысь. А воздух был такой чистый, такой прозрачный, что, кажется, всю вселенную увидеть можно.

Высоко в небе появилась черная точка. Она металась из стороны в сторону, то увеличиваясь, то уменьшаясь, а потом вдруг повисла, словно пригвожденная.

— Гляди, хлопцы, грач прилетел! — сказал молодой солдат, запрокинув голову.

— Сам ты грач! — съязвил широколицый ефрейтор, всматриваясь в небесную даль. — Это же ворона...

— А я кажу грач, — настаивал молодой солдат. — Хочешь, я его приземлю?

— Приземлишь?

— Ага.

Недолго размышляя, солдат вскинул винтовку, прищурил левый глаз и, затаив дыхание, выстрелил. Черная точка качнулась, потом завертелась и камнем рухнула вниз.

Ефрейтор глянул на птицу и, переведя взгляд на улыбавшегося солдата, с удивлением сказал:

— И верно грач...

Никто не заметил, как появился старшина.

— Кто стрелял? — спросил он строго.

— Я.

— А кто разрешил патроны жечь? Молодой солдат замялся.

— Спор у нас вышел...

Подняв с земли подбитую птицу, старшина осмотрел ее и недовольно покачал головой:

— Безобразие...

— Попадет тебе, браток, — предупредил ефрейтор, когда старшина ушел. — Подполковник у нас строгий.

После захода солнца, когда новобранцы выстроились на вечернюю поверку, снова появился командир полка.

— Ну, держись! — прошептал ефрейтор. — Суток пять огребешь, факт...

Послышалась команда «смирно», и все вокруг замерло.

— Кто подстрелил птицу? — спросил подполковник. С левого фланга донеслось:

— Красноармеец Дьяченко.

— Три шага вперед!

Молодой солдат вытянулся и, отсчитав три шага, встал будто вкопанный.

Подполковник подошел к Дьяченко и, видимо, узнав в нем того самого малыша-остряка, улыбнулся:

— Молодчина! За меткую стрельбу объявляю благодарность!

II

Весь день рота отрабатывала задачу по прорыву сильно укрепленной полосы противника. Десятки раз «штурмовались» доты, дзоты, высоты, и, кажется, все приемы были освоены в совершенстве, а командир полка приказывал начинать все сызнова. Устали воины, но каждый твердо помнил слова великого полководца Суворова: тяжело в учении — легко в бою.

Как назло, и кухня что-то запаздывала, солдаты давно уже подтянули ремни, а ее все нет и нет. Вдруг прибежал, запыхавшись, связной. С трудом переводя дыхание, он доложил командиру роты:

— Обеда сегодня не будет, — кухню разбомбило. Приказали выдать сухой паек. Блокадный рацион невелик — один сухарь и кружка холодной воды. Хорошо, если у кого заваялся кусочек сахара, но что поделаешь, война.

Пожевал Дьяченко половину сухаря, а вторую половину оставил на ужин. Кто знает, что еще может случиться к вечеру. Как в воду смотрел молодой солдат. Через несколько часов полк был поднят по тревоге. Потянулись к Колпино рота за ротой, обозы за обозами. Путь до переднего края недалек, но с голодным желудком идти было трудновато. В поселке Усть-Ижора сделали короткий привал. Маленькие деревянные домики, занесенные снегом, стояли осиротевшими, словно все кругом вымерло.

Дьяченко присел на корточки у разбитого сарая, вынул оставшуюся половину сухаря и приготовился было «поужинать», но в это время мелькнула чья-то тень. Солдат увидел девочку; на вид ей было не более 10—11 лет; она шла по заснеженной тропинке и что-то искала. Долго она бродила, шаря кругом глазами, но ничего, видимо, найти ей не удавалось.

— Чего ты ищешь, дивчина? — спросил Дьяченко.

— Тут, дяденька, огород был; может, старую кочерыжку найду, — ответила девочка и снова пошла, покачиваясь от голода.

До боли сжалось сердце солдата. Он подбежал к девочке и протянул ей оставшуюся половину сухаря.

— Возьми, дивчина, это тебе.

Девочка не сразу взяла. Она посмотрела на солдата большими, глубоко провалившимися глазами, а затем спросила:

— А вы?

— Я уже свою половину съел.

И Дьяченко вложил в белую, почти прозрачную руку ребенка сухарик.

— Спасибо, дяденька. Вы, наверно, комсомолец, правда?

Солдат молчал.

— У нас комсомольцы всем помогают, — продолжала она тихо. — Кому дровишек наколют, кому лекарства принесут. Нам вчера даже полы помыли. Мама моя не встает, а я видите какая.

Рота снова двинулась в путь. Всю дорогу Дьяченко ни с кем не обмолвился и словом. «За что страдает этот ребенок? — сверлило в голове. — За то, что он хочет быть свободным, учиться, развиваться... Нет, гитлеровцев мало убивать, их надо истреблять безжалостно, как бешеных псов, как чуму, проказу, холеру...»

В густых сумерках рота выдвинулась на исходные позиции в район Путролово. Подул свежий ветер, и от весеннего дня не осталось и следа. Умолкли под снежными сугробами ручейки, захрустели под ногами покрывшиеся ледяной коркой лужицы. Всю ночь шла напряженная подготовка к бою. Пришел в роту комсорг батальона лейтенант Анатолий Жданов. Стройный, жизнерадостный, он подходил к каждому, подбадривал, рассказывал о положении на фронтах. Жданов подошел к Дьяченко:

— Ну, как дела, к бою все готово? — спросил комсорг.

— Так точно, товарищ лейтенант, все готово.

Только у меня к вам просьба. Жданов насторожился:

— Пожалуйста.

— Когда наша рота была на привале, я встретил там девочку... — И молодой солдат рассказал все, что он пережил за несколько минут привала в прифронтовом поселке Усть-Ижора.

— Я дал ей кусочек сухаря, — заключил Дьяченко, — а она сказала: «Вы, дяденька, наверно, комсомолец? У нас комсомольцы всем помогают». Я ничего ей не ответил...

Солдат задумался немного, затем вынул аккуратно сложенный листик бумаги и протянул его комсоргу.

— Прошу разобрать мое заявление сегодня. Хочу идти в бой комсомольцем.

Лейтенант взял заявление, прочел его при свете карманного фонаря и, не скрывая радости, сказал:

— Хорошо.

Через несколько минут накоротке было созвано комсомольское собрание, и тут же в траншее на исходе ночи Федор Дьяченко был принят в комсомол.

— Не подведу, товарищи, — сказал он комсомольцам, — буду бить фашистов до последнего вздоха.

На рассвете взвились сигнальные ракеты. Артиллеристы начали обработку переднего края противника. Вслед за огненным валом ринулась на гитлеровцев наша пехота. С ожесточением сражался и молодой комсомолец.

— Дьяченко, ко мне! — словно из земли вырос командир взвода. — Вон слева гитлеровцы накапливаются для контратаки. Выбери позицию и бери на мушку прежде всего фашистских офицеров. Понял?

— Понял,— перекрикивая грохот боя, ответил Дьяченко.

Одним рывком он перемахнул через бруствер и по узкому ходу сообщения стал пробираться к мелкому кустарнику, откуда хорошо видно было, что делается у противника. Замаскировавшись, Дьяченко взял на мушку офицера. Ни одна пуля не была пущена даром. Потеряв своих командиров, фашистские солдаты растерялись— и контратака была сорвана. Тем временем наша пехота перегруппировалась и с новой силой ударила по врагу. Это было боевое крещение комсомольца Федора Дьяченко.

III

После первого боя Дьяченко твердо решил стать снайпером. Но как быть? Пойти к командиру роты и просто рассказать о своем намерении? А вдруг откажет? «Занимайся, — мол, — солдат, своим делом и не суй носа, куда не следует», — тогда со стыда сгоришь. Надо посоветоваться с комсоргом.

— Слышал я, что в соседнем полку мой земляк сержант Григорий Симанчук из своей винтовки много гитлеровцев истребил, — сказал как-то лейтенанту Жданову Дьяченко. — Хотелось бы и мне на них поохотиться.

Лейтенант выслушал комсомольца, а затем, записав что-то на клочке бумаги, сказал:

— Хорошее дело предлагаешь. Поговорю с командиром.

Желание солдата было удовлетворено. И наступила для молодого комсомольца новая пора. Днем и ночью устраивал он засады, выслеживал фашистов и бил, бил их без промаха. Редко кому из гитлеровцев удавалось уйти от меткой пули Дьяченко. С каждым днем рос счет мести советского патриота. Вскоре на его счету было около пятидесяти истребленных гитлеровцев. В своем письме к знатному истребителю Григорию Симанчуку молодой снайпер писал: «На моей винтовке стоит номер 220. Как только убью столько гитлеровцев, так приеду к тебе в гости».

...Тревожна осенняя ночь. Трудно всматриваться в кромешную тьму, но смотреть надо в оба. Враг может пойти на любую провокацию. Дьяченко любил эти ночи. В такую темень он словно был в своей стихии, темные ночи приносили ему удачу. Гитлеровцам казалось, что в густой мгле их никто не видит, и они более свободно высывались из траншей, иногда даже выползали на бруствер. Этого только и ждал снайпер. Ведь его огневая позиция находилась в лощине, а на фоне неба вражеские силуэты видны хорошо, и тут уж промахнуться грешно.

Но вот при вспышке осветительной ракеты возле проволочного заграждения показались две тени. Тени двигались, останавливались и снова двигались. Кто это? Разведчики? Но тогда чьи? Если наши, то почему об этом никто не предупредил? Так не бывает. А может, лазутчики? Однако рассуждать долго нельзя... Тени все уходят и уходят. Вот они уже подползли к проволоке, чего-то там возятся. Погасла ракета, и стало еще темнее. Нет, это враг. Наверняка фашисты. Снова вспыхнула ракета. Тени сбросили с себя шинели и накинули их на колючую проволоку. Больше медлить нельзя ни секунды. Сейчас лазутчики перелезут. Но как быть? А вдруг свои? Нет, нет, определенно враг. Дьяченко прицелился и два раза выстрелил. Когда вспыхнула еще одна ракета, снайпер увидел, что оба лазутчика лежат неподвижно, беспомощно повиснув на колючей проволоке.

Утром Дьяченко вернулся к себе в землянку. Усталый, продрогший за ночь, он снял валенки и лег у раскалившейся печки. Однако уснуть не удавалось — из головы не выходили загадочные тени. А вдруг то были наши? От этой мысли пробирала дрожь. Тревога усилилась еще больше, когда в землянку вошел старшина и сказал, что ночью под носом у гитлеровцев наши саперы заминировали дорогу.

Теперь не было сомнения. Он убил своих. Что делать? Пойти к командиру и все рассказать? За это трибунал или в лучшем случае штрафной батальон. Но комсомолец должен

быть правдивым, и солдат решил идти к командиру. Отлегло у снайпера лишь после того, когда ротный позвонил командиру саперного подразделения и узнал, что все саперы, успешно выполнив задание, благополучно вернулись к себе. Но тогда кто же лежит на колючей проволоке?

— А не грачей ли ты подстрелил? — усмехнулся капитан.

Но Дьяченко было не до шуток.

— Их здесь не бывает. Командир роты улыбнулся.

— А может, тебе все это померещилось. Ведь чудес на свете тоже не бывает. В темную ночь попасть в кого-либо, да еще на таком расстоянии, — мало вероятно.

— Тогда разрешите убедиться, — сказал снайпер. Командир роты не сразу ответил. Он посмотрел на карту и стал что-то прикидывать в уме. Затем он взял со столика ручные гранаты, протянул Дьяченко.

— На всякий случай. К проволоке пробираться только ночью. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан.

Ночью снайпер приволок в траншею двух убитых. Это были фашисты. При обыске у них обнаружили карты, на которых был нанесен весь передний край обороны с огневыми точками, пачка антисоветских листовок, фальшивые советские деньги и паспорта. Когда все это принесли командиру роты, он подошел к Дьяченко и крепко пожал ему руку.

— Важных ты птиц подстрелил. Видимо, лазутчики собирались проникнуть к нам в тыл, да лазейки на нашем участке не нашли. Вернулись, чтобы попытаться в другом месте.

— И не вышло, — сказал снайпер.

— Не вышло. Ты им все планы расстроил.

IV

Шли дни. То там, то здесь вспыхивали бои, и Федор Дьяченко не давал покоя гитлеровцам, по-прежнему охотился на них и без промаха бил, бил, где бы они только ни появлялись.

Как-то фашисты засекли отважного снайпера и, видимо, решили во что бы то ни стало покончить с ним. Уж больно много неприятностей терпели от него.

Случилось это рано утром. Едва только предрассветная дымка начала рассеиваться, Дьяченко уже занимал свой новый огневой рубеж, за густым кустарником, который узкой полосой растянулся почти у самого переднего края противника. Это была опасная, но выгодная позиция. Отсюда можно видеть, что делается во вражеской траншее. Гитлеровцам, конечно, и в голову не приходило, что здесь, почти под носом у них мог орудовать советский снайпер.

Взошло солнце, и воздух стал совсем прозрачным. Дьяченко начал следить за противником. Вот замаячила жирная физиономия фашиста. Снайпер выстрелил. Гитлеровец, будто мешок с песком, свалился на землю. К нему поспешно подбежали двое. Но и эти после двух выстрелов остались на том же месте.

Враги догадались, что работает советский снайпер, который несомненно ведет огонь из-за кустов. Длинными очередями хлестнул по зеленому кустарнику станковый пулемет. Из нескольких орудий ударила артиллерия. Более десяти минут бушевал шквал огня и свинца. Зеленая листва почернела, будто кто жег ее на раскаленных углях.

Теперь фашисты были убеждены, что ничто живое за кустами не осталось. И действительно, в течение двух с лишним часов ни одного выстрела оттуда не последовало. Гитлеровцы ликовали, но зато товарищи бесстрашного комсомольца забеспокоились.

— Накрыли, гады, нашего Федю, — с горечью говорили воины, наблюдавшие, с каким остервенением фашисты вспыхивали все, что было за кустарником.

Но вот показалась голова в каске. Видно, это был важный офицер. Он поглядел по сторонам, с кем-то переговариваясь, а затем, тыча пальцем в сторону расположения наших войск, стал, вероятно, давать какие-то указания. Грянул выстрел. Голова закачалась и свалилась набок.

Напрасно фашисты ликовали. Комсомолец Дьяченко все предвидел. Он заранее подготовил себе запасные огневые позиции и, как только первый гитлеровец был уложен, снайпер сразу перемахнул на новое место. Отсюда ему хорошо было видно, как вражеские снаряды долбили пустое место. Сейчас он снова переполз на запасную позицию и с усмешкой наблюдал, как гитлеровцы яростно обстреливают старую одинокую березу.

Снайпер Дьяченко хорошо был известен гитлеровцам. В своих радиопередачах они не раз грозили ему расправой. Но это только смешило отважного комсомольца. В таких случаях он прищурит, бывало, левый глаз и улыбаясь говорит:

— Пугала коза медведя.

Снайпер с новой силой обрушивался на врагов, и днем и ночью наносил им жестокие, непоправимые удары.

Интересная дуэль произошла у Дьяченко с вражеским снайпером. Случилось это вот как.

В этот день должно было состояться батальонное комсомольское собрание. Дьяченко решил свернуть «охоту» и пораньше, до наступления сумерек пробраться в расположение своей роты. Это была не легкая и не безопасная задача: предстояло проползти по-пластунски около пятисот метров по гладкой, со всех сторон простреливаемой поляне; но что поделаешь, — комсомольская дисциплина обязывает на собрание являться вовремя. Однако стоило только снайперу неосторожно задеть прикрывавшую его ветку, как мимо уха резко просвистела пуля. «Ого! — подумал снайпер. — Кто-то взял меня на мушку». Спустя минуту горячая струя воздуха сорвала с головы пилотку и отбросила ее за несколько метров. Дьяченко подполз к ней и увидел, что через эмалевую звездочку прошла пуля.

— Так стрелять может только снайпер, — сказал про себя Дьяченко. — Ну что ж; дуэль так дуэль.

И бесстрашный комсомолец решил померяться силами. Но как выследить такого серьезного противника? Ведь фашистский снайпер тоже маскируется, вероятно, и позиции свои меняет. По всему видно, и стреляет недурно. Малейшая неосторожность, и дуэль может кончиться поражением. Придется брать врага хитростью.

Надев на березовый пруток пилотку, Дьяченко приподнял ее над кустиком, а сам отполз в сторону и стал наблюдать, откуда последует выстрел. Долго ждать не пришлось. Из груды битого кирпича мелькнул сизый дымок, и продырявленная пилотка отлетела вместе с прутиком. Теперь было ясно, где сидит немецкий снайпер. Но как увидеть его самого? Дымок ведь только ориентир, а нужна цель.

Дьяченко сменил позицию. Из своей гимнастерки он свернул узелок, а на него напялил пилотку. Для полного впечатления, что советский снайпер вооружен винтовкой с оптическим прицелом, комсомолец прикрепил к узлу маленькое карманное зеркальце.

Эффект получился поразительный. Когда все это «сооружение» Дьяченко выставил впереди кустов, гитлеровский снайпер сразу показался из-за груды битого кирпича и начал прицеливаться. Но выстрелить ему не удалось. Советский снайпер опередил его. Меткой пулей он пригвоздил фашистского молодчика к месту.

Впервые Дьяченко опоздал на комсомольское собрание. Но когда он рассказал о поединке с гитлеровским снайпером, комсорг Жданов внес предложение считать причину уважительной. Собрание согласилось с мнением лейтенанта.

К осени Дьяченко писал своему земляку и другу Григорию Симанчуку: «Я свое слово сдержал. Жди меня теперь в гости».

К этому времени на счету истребителя было около трехсот уничтоженных фашистов. Но встретиться двум знатным снайперам не удалось. Симанчук был тяжело ранен, и его отправили на Большую землю.

Лишь через год, в июне 1943 года, эта долгожданная встреча состоялась: Симанчук поправился и снова вернулся в свою часть. В эти дни уже по всему Ленинградскому фронту гремела слава Федора Дьяченко. На счету бесстрашного комсомольца было свыше четырехсот истребленных гитлеровцев.

... Всего одна фронтовая песня была спета в тот вечер, а как много воскресила она в памяти! Я смотрел на Федора Трофимовича, на его крепкую фигуру с гвардейской осанкой, на Золотую Звезду героя, на веселое, с комсомольским задором лицо; через какие тяжелые испытания прошел этот простой советский человек! Но призови его Родина вновь, и он не задумываясь пройдет опять через тысячи смертей.